

Владимир Набоков

Стихи

© М. Маликова, статья, комментарии, 2015

© Оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука–Аттикус“», 2015

Издательство АЗБУКА®

Предисловие

Этот сборник – почти полное собрание стихов, написанных Владимиром Набоковым. Не вошли в него только, во-первых, совсем ранние произведения, во-вторых, такие, которые по форме и содержанию слишком похожи на другие, и, в-третьих, такие, в которых он находил формальные недостатки. Отбор был сделан самим автором. Он собирался сделать еще один, более строгий сборник, но не успел.

Теперь, посылая этот сборник в печать, хочу обратить внимание читателя на главную тему Набокова. Она, кажется, не была никем отмечена, а между тем ею пропитано все, что он писал; она, как некий водяной знак, символизирует все его творчество. Я говорю о «потусторонности», как он сам ее назвал в своем последнем стихотворении «Влюбленность». Тема эта намечается уже в таких ранних произведениях Набокова, как «Еще безмолвствую и крепну я в тиши...», просвечивает в «Как я люблю тебя» («...и в вечное пройти украдкой насквозь»), в «Вечере на пустыре» («...оттого что закрыто неплотно, и уже невозможно отнять...»), и во многих других его произведениях. Но ближе всего он к ней подошел в стихотворении «Слава», где он определил ее совершенно откровенно как тайну, которую носит в душе и выдать которую не должен и не может.

Этой тайне он был причастен много лет, почти не сознавая ее, и это она давала ему его невозмутимую жизнерадостность и ясность даже при самых тяжелых переживаниях и делала его совершенно неуязвимым для всяких самых глупых или злостных нападок.

Эта тайна та-та, та-та-та-та, та-та,

а точнее сказать я не вправе.

Чтобы еще точнее понять, о чем идет речь, предлагаю читателю ознакомиться с описанием Федором Годуновым–Чердынцевым своего отца в романе «Дар» (стр. 130, второй абзац, и продолжение на стр. 131).

Сам Набоков считал, что все его стихи распадаются на несколько разделов. В своем предисловии к сборнику *Poems and Problems* («Стихи и задачи») он писал: «То, что можно несколько выпренно назвать европейским периодом моего стихотворчества, как будто распадается на несколько отдельных фаз: первоначальная, банальные любовные стихи (в этом издании не представлена); период, отражающий полное отвержение так называемой октябрьской революции; и период, продолжавшийся далеко за двадцатый год, некоего частного ретроспективно–ностальгического кураторства, а также стремления развить византийскую образность (некоторые читатели ошибочно усматривали в этом интерес к религии – интерес, который для меня ограничивался литературной стилизацией); а затем, в течение десятка лет, я видел свою задачу в том, чтобы каждое стихотворение имело сюжет и изложение (это было как бы реакцией против унылой, худосочной „парижской школы“ эмигрантской поэзии); и наконец, в конце тридцатых годов и в течение последующих десятилетий, внезапное освобождение от этих добровольно принятых на себя оков, выразившееся в уменьшении продукции и в запоздалом открытии твердого стиля». Однако такие стихи, как, например, «Вечер на пустыре» (1932 г.) или «Снег» (1930 г.), тоже относятся скорее к этому последнему периоду.

Почти все собранные здесь стихи были напечатаны в эмигрантских газетах и журналах вскоре после их написания. Многие появились в печати по два или три раза. Многие вошли потом в сборники: «Возвращение Чорба» (24 стихотворения и 14 рассказов; Берлин, «Слово», 1930 г.); «Стихотворения 1929–1951 гг.» (Париж, «Рифма», 1952 г.); *Poesie* (16 русских стихотворений – из издания «Рифма» – и 14 английских стихотворений, в итальянском переводе, с оригинальным текстом *en regard*, (Милан, *Il Saggiatore*, 1962); *Poems and Problems* (39 русских стихотворений с английскими переводами, 14 английских стихотворений и 18 шахматных задач; Нью-Йорк, McGraw Hill, 1970).

Вера Набокова

Стихи

Дождь пролетел[1]

Дождь пролетел и сгорел на лету.

Иду по румяной дорожке.
Иволги свищут, рябины в цвету,
Белеют на ивах сережки.

Воздух живителен, влажен, душист.
Как жимолость благоухает!
Кончиком вниз наклоняется лист
И с кончика жемчуг роняет.

Выра

1917 г.

К свободе[2]

Ты медленно бредешь по улицам бессонным;
на горестном челе нет прежнего луча,
зовущего к любви и всям озаренным.
В одной руке дрожит потухшая свеча.
Крыло подбитое по трупам волоча
И заслоняя взор локтем окровавленным,
обманутая вновь, ты вновь уходишь прочь,
а за тобой, увы, стоит все та же ночь.

Крым 1917 г.

Поэт

Среди обугленных развалин,
среди унижительных могил –
не безнадежен, не печален,
но полон жизни, полон сил, –

с моею музою незримой
так беззаботно я брожу
и с радостью неизъяснимой
на небо ясное гляжу.

Я над собою солнце вижу
и сладостные слезы лью,
и никого я не обижу,
и никого не полюблю.

Иное счастье мне доступно,
я предаюсь иной тоске,
а все, что жалко иль преступно,
осталось где-то вдалеке.

Там занимаются пожары,
там, сполохами окружен,
мир сотрясается и старый
переступается закон.

Там опьяневшие народы
ведет безумие само, –

и вот на чучеле свободы
бессменной пошлости клеймо.

Я в стороне. Молюсь, ликую,
и ничего не надо мне,
когда вселенную я чую
в своей душевной глубине.

То я беседую с волнами,
то с ветром, с птицей уношусь
и со святыми небесами
мечтами чистыми делюсь.

«В хрустальный шар заключены мы были...»

В хрустальный шар заключены мы были,
и мимо звезд летели мы с тобой,
стремительно, безмолвно мы скользили
из блеска в блеск блаженно-голубой.

И не было ни прошлого, ни цели;
нас вечности восторг соединил;
по небесам, обнявшись, мы летели,
ослеплены улыбками светил.

Но чей-то вздох разбил наш шар хрустальный,

остановил наш огненный порыв
и поцелуй прервал наш безначальный,
и в пленный мир нас бросил, разлучив.

И на земле мы многое забыли:
лишь изредка вспомнится во сне
и трепет наш, и трепет звездной пыли,
и чудный гул, дрожавший в вышине.

Хоть мы грустим и радуемся розно,
твое лицо, средь всех прекрасных лиц,
могу узнать по этой пыли звездной,
оставшейся на кончиках ресниц...

Крым

1918 г.

«Ты на небе облачко нежное...»

Ты на небе облачко нежное,
ты пена прозрачная на море,
ты тень от мимозы на мраморе,
ты эхо души неизбежное...

И песня звенит безначальная.
Зову ли тебя – откликаешься,
ищу ли – молчишь и скрываешься,
найду ли? Не знаю, о Дальняя.

Ты сон навеваешь таинственный.
Взволнован я ночью туманною,
живу я мечтой несказанною,
дышу я любовью единственной.
И счастье мне грезится дальше,
и снится мне встреча блаженная,
и песня звенит вдохновенная,
свиваясь в кольцо обручальное.

Крым

1918 г.

Россия

Не все ли равно мне, работой ли, наемницей
иль просто безумной тебя назовут?
Ты светишь... Взгляну – и мне счастье вспомнится.
Да, эти лучи не зайдут.

Ты в страсти моей, и в страданиях торжественных,
и в женском медлительном взгляде была.
В полях озаренных, холодных и девственных,
цветком голубым ты цвела.

Ты осень водила по рощам заплаканным,
весной целовала ресницы мои.

Ты в душных церквах повторяла за дьяконом
слепые слова ектеньи.

Ты летом за нивой звенела зарницами;
в день зимний я в инее видел твой лик.
Ты ночью склонялась со мной над страницами
властительных, песенных книг.

Была ты и будешь. Таинственно создан я
из блеска и дымки твоих облаков.
Когда надо мною ночь плещется звездная,
я слышу твой реющий зов.

Ты – в сердце, Россия. Ты – цель и подножие,
ты – в ропоте крови, в смятенье мечты.
И мне ли плутать в этот век бездорожия?
Мне светишь по-прежнему ты.

Крым

1918 г.

Архангелы

Поставь на правый путь. Сомнения развеи.
Ночь давит над землей, и ночь в душе моей.
Поставь на правый путь.

И страшно мне уснуть, и бодрствовать невмочь.

Небытия намек я чую в эту ночь.

И страшно мне уснуть.

Я верю – ты придешь, наставник неземной,

на миг, на краткий миг восстанешь предо мной.

Я верю, ты придешь.

Ты знаешь мира ложь, бессилье, сумрак наш,

невидимого мне попутчика ты дашь.

Ты знаешь мира ложь.

И вотходишь ты. Не мею и дрожу,

движение верное руки твоей слежу.

И вот отходишь ты.

Средь чуждой темноты я вижу путь прямой.

О, дух пророческий, ты говоришь, он – мой?

Средь чуждой темноты...

Но я боюсь идти: могу свернуть, упасть.

И льстива, и страшна ночного беса власть,

О, я боюсь идти.

«Не бойся: по пути ты не один пойдешь.

Не будешь ты один и если соскользнешь

с высокого пути...»

Крым

1918 г.

Тайная вечеря

Час задумчивый строгого ужина,
предсказанья измен и разлуки.
Озаряет ночная жемчужина
олеандровые лепестки.

Наклонился апостол к апостолу.
У Христа – серебристые руки.
Ясно молятся свечи, и по столу
ночные ползут мотыльки.

Крым

1918 г.

/ Отрывок /

Твоих одежд воздушных я коснулся,
и мелкие посыпались цветы
из облака благоуханной ткани.
Стояли мы на белых ступенях,
в полдневный час, у моря, – и на юге,
сверкая, колебались корабли.

Спросила ты:

что на земле прекрасней
темно-лиловых лепестков фиалок,
разбросанных по мрамору?

Твои

глаза, твои покорные глаза,
я отвечал.

Потом мы побрели

вдоль берега, ладонями блуждая
по краю бледно-каменной ограды.
Синела даль. Ты слабо улыбалась,
любуйся парусами кораблей,
как будто вырезанными из солнца.

Крым

1918 г.

Движенье

Искусственное тел передвиженье –
вот разума древнейшая любовь,
и в этом жадно ищет отраженья
под кожей кружащаяся кровь.

Чу! По мосту над бешеною бездной
чудовище с зарницей на хребте
как бы грозой неистово-железной

проносится в гремящей темноте.

И чуя, как добычу, берег дальний,
стоокие, по морокам морей
плывут и плещут музыкою бальной
чертоги исполинских кораблей.

Наклон, оправданное вычисленье
да четкий, повторяющийся взрыв –
и вот оно, Дедала сновиденье,
взлетает, крылья струнные раскрыв.

Крым

1918 г.

Рыцарь

Я в замке. Ночь. Свод сумрачно-дубовый.
Вдоль смутных стен портретов смутный ряд.
Я не один: в углу – средневековый
суровый страж, составленный из лат.

Он в полутьме, как сон убийцы хмурый,
стоял с копьем в закованной руке.
Я расставлял огромные фигуры
при трех свечах на шахматной доске.

И вот огонь угрюмый отсвет кинул
на рыцаря – и видел, слышал я:
он медленно забрало отодвинул,
и звякнула стальная чешуя.

Он подошел тяжелой походкой,
стуча копьем и латами звеня;
сел предо мной и руку поднял четко
и стал играть, не глядя на меня.

Взор опустив и трепетом объятый,
бессмысленно я пешки выдвигал.
Жемчужные и черные квадраты
крылатый ветер, дохнув, перемешал.

Последнею пожертвовал я пешкой,
шепнул: «Сдаюсь», и победитель мой
с какую-то знакомую усмешкой,
привстав, ко мне нагнулся над доской...

Очнулся я. Недвижно рыцарь хмурый
стоит в углу с копьем своим в руке,
и на местах все тридцать две фигуры
передо мной на шахматной доске.

18 марта 1919 г.

Еще безмолвствую

Еще безмолвствую и крепну я в тиши.
Созданий будущих заоблачные грани
еще скрываются во мгле моей души,
как выси горные в предутреннем тумане.

Приветствую тебя, мой неизбежный день.
Все шире, шире даль, светлей, разнообразней,
и на звенящую, на первую ступень
всхожу, исполненный блаженства и боязни.

Крым

1919 г.

Номер в гостинице

Не то кровать, не то скамья.
Угрюмо-желтые обои.
Два стула. Зеркало кривое.
Мы входим – я и тень моя.

Окно со звоном открываем:
спадает отблеск до земли.
Ночь бездыханна. Псы вдали
тишь рассекают пестрым лаем.

Я замираю у окна,
и в черной чаше небосвода,
как золотая капля меда,
сверкает сладостно луна.

Севастополь

1919 г.

Акрополь

Чей шаг за мной? Чей шелестит виссон?
Кто там поет пред мрамором богини?
Ты, мысль моя. В резной тени колонн
как бы звенят порывы дивных линий.

Я рад всему. Струясь в Эрехтейон,
мне льстит лазурь и моря блеск павлиний;
спускаюсь вниз, и вот запечатлен
в пыли веков мой след, от солнца синий.

Во мглу, во глубь хочу на миг сойти:
там, чудится, по млечному пути
былых времен, сквозь сумрак молчаливый

в певучем сне таинственно летишь...
О, как свежа, благоговейна тишь
в святилище, где дышит тень оливы!

Англия

1919 г.

Football

Я видел, за тобой шел юноша, похожий
на многих; знал я все: походку, трубку, смех.
Да и таких, как ты, немало ведь, – и что же,
люблю по-разному их всех.

Вы проходили там, где дружественно-рьяно
играли мы, кружась под зимней синевой.

Отрадная игра! Широкая поляна;
пестрят рубашки; мяч живой

то мечется в ногах, как молния кривая,
то – выстрела звучней – взвивается, и вот
подпрыгиваю я, с размаху прерывая
его стремительный полет.

Увидя мой удар, уверенно-умелый,
спросила ты, следя вращающийся мяч:
знаком ли он тебе – вон тот, в фуфайке белой,
худой, лохматый, как скрипач.

Твой спутник отвечал, что, кажется, я родом

из дикой той страны, где каплет кровь на снег,
и, трубку пососав, заметил мимоходом,
что я – приятный человек.

И дальше вы пошли. Туманясь, удалился
твой голос солнечный. Я видел, как твой друг
последовал, дымя, потом остановился
и трубкой стукнул о каблук.

А там все прыгал мяч, и ведать не могли вы,
что вот один из тех беспечных игроков
в молчанье, по ночам, творит, неторопливый,
созвучья для иных веков.

Кембридж

1919 г.

La Morte d'Arthur

Все, что я видел, но забыл,
ты, сказка гулкая, напомни;
да: робким рыцарем я был,
и пряжка резала плечо мне.

Да. Злая встреча у ручья
в тот вечер шелково-зеленый,
кольчуги вражьей чешуя

и конь под траурной попоной.

16 декабря 1919 г.

«Будь со мной прозрачнее и проще...»

Будь со мной прозрачнее и проще:

у меня осталась ты одна.

Дом сожжен и вырублены рощи,

Где моя туманилась весна,

где березы грезили и дятел

по стволу постукивал... В бою

безысходном друга я утратил,

а потом и родину мою.

И во сне я с призраками реял,

наяву с блудницами блуждал;

и в горах я вымыслы развеял,

и в морях я песни растерял.

А теперь о прошлом суждено мне

тосковать у твоего огня.

Будь нежней, будь искреннее. Помни,

Ты одна осталась у меня.

12 ноября 1919 г.

У камина

Ночь. И с тонким чешуйчатым шумом
зацветающие угольки
расправляют в камине угрюмом
огневые свои лепестки.

И гляжу я, виски зажимая,
в золотые глаза угольков,
я гляжу, изумленно внимая
голосам моих первых стихов.

Серафимом незримым согреты,
оживают слова, как цветы:
узнаю понемногу приметы
вдохновившей меня красоты;

воскрешаю я все, что, бывало,
хоть на миг умилило меня:
ствол сосны пламенеющий, алый
на закате июльского дня...

13 марта 1920 г.

«Людям ты скажешь: настало...»

Посвящается матери

Людам ты скажешь: настало.

Завтра я в путь соберусь.

(Голуби. Двор постоянный.

Ржавая вывеска: Русь.)

Скажешь ты Богу: я дома.

(Кладбище. Мост. Поворот.)

Будет старик незнакомый

Вместо дубка у ворот.

Кембридж

3 мая 1920 г.

Телеграфные столбы

Столбов однообразных придорожных

фарфоровые бубенцы и шесть

гудящих струн.

Скользит за вестью весть —

шум голосов бесчисленных, тревожных

и жалобных, скользит из края в край.

И ты — на бледной полосе дороги,

ты, странник загорелый, босоногий,

замедли шаг и с ветром замирай,

внимая проплывающему пенью.

Гудит, гудит уныние равнин,
и каждый столб ложится длинной тенью,
и путь далек, и ты один...

11 мая 1920 г.

«Когда, мечтательно склонившись у дверей...»

Когда, мечтательно склонившись у дверей,
ночь придает очарованье
печалям жизненным, я чувствую острее
свое ненужное призванье.

Ненужное тебе, рабыня губ моих,
и от тебя его я скрою,
и скрою от друзей, нечистых и пустых,
полузавистливых порою.

Деревья вешние в мерцающих венцах,
улыбка нищего, тень дыма,
тень думы – вижу все; в природе и в сердцах
мне ясно то, что вам незримо.

От счастья плачет ночь, и вся земля в цвету...

Благоговею, вспоминаю,

творю – и этот свет на вашу слепоту
я никогда не променяю!

Кембридж

12 мая 1920 г.

«В неволе я, в неволе я, в неволе!..»

В неволе я, в неволе я, в неволе!

На пыльном подоконнике моем
следы локтей. Передо мною дом
туманится. От несравненной боли
я изнемог... Над крышей, на спине
готического голого уродца,
как белый голубь, дремлет месяц... Мне
так грустно, мне так грустно... С кем бороться –
не знаю, Боже. И кому помочь –
не знаю тоже... Льетса, льетса ночь
(о, как ты, ласковая, одинока!);
два голоса несутся издалёка;
туман луны стекает по стенам;
влюбленных двое обнялись в тумане...
Да, о таких рассказывают нам
шарманки выцветших воспоминаний
и шелестящие сердца старинных книг.
Влюбленные. В мой переулок узкий
они вошли. Мне кажется на миг,

что тихо говорят они по-русски.

Кембридж

31 мая 1920 г.

Романс

И на берег весенний пришли мы назад
сквозь туман исступленных растений.
По сырому песку перед нами скользят
наши узкие черные тени.

Ты о прошлом твердишь, о разбитой волне,
а над морем, над золотоглазым,
кипарисы на склонах струятся к луне,
и внимаю я райским рассказам.

Отражаясь в воде, колокольчики звезд
непонятно звенят, а над морем
повисает горящий, змеящийся мост,
и как дети о прошлом мы спорим.

Вспоминаем порывы разбрызганных дней.
Это больно, и это не нужно...
Мы идем, и следы наших голых ступней
наполняются влагой жемчужной.

Кембридж

8 июня 1920 г.

Ласточки

Инок ласковый, мы реем
над твоим монастырем
да над озером, горящим
синеватым серебром.

Завтра, милый, улетаем –
утром сонным в сентябре.
В Цареграде – на закате,
в Назарете – на заре.

Но на север мы в апреле
возвращаемся, и вот
ты срываешь, иннок тонкий,
первый ландыш у ворот;

и, не понимая птичьих
маленьких и звонких слов,
ты нас видишь над крестами
бирюзовых куполов.

10 июня 1920 г.

Так будет

С собакою седой, которая когда-то,
смеясь по-своему, глядела мне в глаза,
ты выйдешь ввечеру, и месяц, как слеза,
прольется на цветы последние заката.

Над книжкой, в полутьме блеснувшей белизной,
склони ты голову, склони воспоминанья,
прими, пойми стихи, задуманные мной
на дальней пристани в ночь звездную изгнанья.

Ты будешь тосковать, угадывая, чья
лепечущая тень печалила поэта.

Ты вспомнишь свежие и сладостные лета,
золотоствольный лес и встречи у ручья.

И улыбнешься ты загадочно, и сядешь
на мшистую скамью в лесу на склоне дня,
и светлой веткою черемухи погладишь
собаку старую, забывшую меня.

Кембридж

11 июня 1920 г.

«Я без слез не могу...»

Я без слез не могу
тебя видеть, весна.
Вот стою на лугу
да и плачу навзрыд.

А ты ходишь кругом,
зеленея, шурша...
Ах, откуда она,
эта жгучая грусть!

Я и сам не пойму;
только знаю одно:
если б иволга вдруг
зазвенела в лесу,

если б вдруг мне в глаза
мокрый ландыш блеснул –
в этот миг, на лугу,
я бы умер, весна...

1920 г.

Каштаны

Цветущие каштаны, словно храмы
открытые, сияют вдоль реки.
Их красоту задуют ветерки

зазорные, но в этот вечер – самый
весенний из весенних вечеров –
они чудесней всех твоих даров,
незримый Зодчий! Кто-то тихо, чисто
в цветах звенит (кто, ангел или дрозд?),
и тени изумрудные слоистой
листвы и грозди розовые звезд
в воде отражены.
Я здесь, упрямый,
юродивый, у паперти стою
и чуда жду, и видят грусть мою
каштаны, восхитительные храмы...

Кембридж

1920 г.

И. А. Бунину

Как воды гор, твой голос горд и чист.
Алмазный стих наполнен райским медом.
Ты любишь мир и юный месяц, лист,
желтеющий над смуглым сочным плодом.

Ты любишь змей, тяжелых злых узлов
лиловый лоск на дне сухой ложбины.
Ты любишь снежный шелест голубиный
вокруг лазурных, влажных куполов.

Твой стих роскошный и скупой, холодный
и жгучий стих один горит, один
над маревом губительных годин,
и весь в цветах твой жертвенник свободный.

Он каплет в ночь росю ледяной
и янтарями благовоний знойных,
и нагота твоих созвучий стройных
сияет мне как бы сквозь шелк цветной.

Безвестен я и молод в мире новом,
кощунственном, но светит все ясней
мой строгий путь: ни помыслом, ни словом
не согрешу пред музою твоей.

1920 г.

«Разгорается высь...»

Разгорается высь,
тает снег на горе.
Пробудись, отзовись,
говори о заре.
Таает снег на горе
пред пещерой моей,
и вся даль в серебре

осторожных лучей.

Повторяй мне, душа,
что сегодня весна,
что земля хороша,
что и смерть не страшна;
что над первой травой
дышит горный цветок,
наряженный в живой
мягко-белый пушок;
что лепечут ручьи
и сверкают кругом
золотые струи;
что во всех и во всем
тихий Бог, тайный Бог
неизменно живет;
что весенний цветок,
ветерок, небосвод,
нежных тучек кайма,
и скала, и поток,
и, душа, ты сама –
всё одно, и всё – Бог.

1920 г.

В раю

Здравствуй, смерть! – и спутник крылатый,

объясняя, в рай уведет,
но внезапно зеленый, зубчатый,
нежный лес предо мною мелькнет.

И немой, в лучистой одежде,
я рванусь и в чаще найду
прежний дом мой земной, и, как прежде,
дверь заплачет, когда я войду.

Одуванчик тучки апрельской
в голубом окошке моем,
да диван из березы карельской,
да семья мотыльков под стеклом.

Буду снова земным поэтом:
на столе открыта тетрадь...
Если Богу расскажут об этом,
Он не станет меня укорять.

Кембридж

1920 г.

Пир

Так лучезарна жизнь, и радостей так много.
От неба звездного чуть слышный веет звон:
бесчисленных гостей полны чертоги Бога;

в один из них я приглашен.

Как нищий я пришел; но дали мне у двери
одежды светлые, и распахнулся мир:
со стен расписанных глядят цветы и звери,
и звучен многолюдный пир.

Сижу я и дивлюсь... По временам бесшумно
дверь открывается в мерцающую тьму.
Порою хмурится сосед мой неразумный,
а я – я радуюсь всему:

и смоквам розовым, и сморщенным орехам,
и чаше бражистой, и дани желтых пчел;
и часто на меня со светлым, тихим смехом
хозяин смотрит через стол.

22 мая 1921 г.

Тристан

1

По водам траурным и лунным
не лебедь легкая плывет,
плывет ладья и звоном струнным
луну лилейную зовет.

Под небом нежным и блестящим
ладью, поющую во сне,
с увещеваньем шелестящим
волна передает волне.

В ней рыцарь раненый и юный
склонен на блеклые шелка,
и арфы ледяные струны
ласкает бледная рука.

И веют корабли далече,
и не узнают никогда,
что это плачет и лепечет —
луна ли, ветер, иль вода...

2

Я странник. Я Тристан. Я в рощах спал душистых
и спал на ложе изо льда.

Изольда, золото волос твоих волнистых
во сне являлось мне всегда.

Деревья надо мной цветущие змеились;
другие, легкие, как сны,
мерцали белизной. Изольда, мы сходились
под сенью сумрачной сосны.

Я тигра обаграл средь тьмы и аромата,
и бег лисицы голубой
я по снегу следил. Изольда, мы когда-то
вдвоем охотились с тобой.

Встречал я по пути гигантов белоглазых,
пушистых, сморщенных детей.
В полночных небесах, Изольда, в их алмазах
ты не прочтешь судьбы моей.

1921 г.

Облака

1

На солнце зóлотом сверкает дождь летучий,
озера в небесах синеют горячо,
и туча белая из-за лиловой тучи
встает, как голое плечо.

Молчи, остановись... Роняют слезы рая
соцветья вешние, склонясь через плетень,
и на твоём лице играет их сырая,
благоухающая тень.

Не двигайся, молчи. Тень эту голубую
я поцелуями любовно обогну.

Цветы колышутся... я счастлив. Я целую
запечатленную весну.

2

Закатные люблю я облака:
над ровными, далекими лугами
они висят гроздистыми венками,
и даль горит, и молятся луга.

Я внемлю им. Душа моя строга,
овеяна безвестными веками:
с кудрявыми багряными богами
я рядом плыл в те вольные века.

Я облаком в вечерний чистый час
вставал, пылал, туманился и гас,
чтоб вспыхнуть вновь с зарею неминучей.
Я облетал все зримое кругом,
блаженствовал и, помню, был влеком
жемчужной тенью, женственную тучей.

Берлин

1921 г.

В поезде

Я выехал давно, и вечер неродной
рдел над равниною нерусской,
и стихословили колеса подо мной,
и я уснул на лавке узкой.

Мне снились дачные вокзалы, смех, весна,
и, окруженный тряской бездной,
очнулся я, привстал, и ночь была душна,
и замедлялся ямб железный.

По занавеске свет, как призрак, проходил.
Внимая трепету и тренью
смолкающих колес, я раму опустил:
пахнуло сыростью, сиренью.

Была передо мной вся молодость моя:
плетень, рябина подле клена,
чернеющий навес, и мокрая скамья,
и станционная икона.

И это длилось миг... Блестя, поплыли прочь
скамья, кусты, фонарь смиренный.
Вот хлынула опять чудовищная ночь,
и мчусь я, крошечный и пленный.

Дорога черная, без цели, без конца,
толчки глухие, вздох и выдох,

и жалоба колес, как повесть беглеца
о прежних тюрьмах и обидах.

Груневальд

4 июля 1921 г.

«Кто меня повезет...»

Кто меня повезет
по ухабам домой,
мимо сизых болот
и струящихся нив?
Кто укажет кнутом,
обернувшись ко мне,
меж берез и рябин
зеленеющий дом?
Кто откроет мне дверь?
Кто заплачет в сенях?
А теперь – вот теперь –
есть ли там кто-нибудь,
кто почуял бы вдруг,
что в далеком краю
я брожу и пою,
под луной, о былом?

Берлин

1921 г.

Перо

Зелененьким юрким внучатам
наказывал леший в бору:
«По черным ветвям, по зубчатым,
жар-птица порхнет ввечеру;

поймайте ее, лешенечки,
и клетку из лунных лучей
возьмите у ключницы-ночки,
да так, чтоб не видел Кощей.

Далече от чащи брусничной
умчите добычу свою;
найдете вы домик кирпичный
в заморском туманном краю.

Оставьте ее на пороге:
там кроткий изгнанник живет;
Любил он лесные дороги
и вольный зеленый народ».

Так дедушка-леший на ели
шушукал, и вот ввечеру,
как струны, стволы зазвенели
и что-то мелькнуло в бору.

Маячило, билось, блестело,
Заохал, нахохлился дед...
Родимые, знать, улетела
жар-птица из пестрых тенет.

Но утром, как пламя живое,
на пыльном пороге моем
лежало перо огневое
с цветным удлинённым глазком.

Ну что ж, и за этот подарок
спасибо, лесные друзья.
Я беден, и день мой неяркий,
и как же обрадован я.

Кембридж

7 июня 1921 г.

«Мечтал я о тебе так часто, так давно...»

Мечтал я о тебе так часто, так давно,
за много лет до нашей встречи,
когда сидел один, и кралась ночь в окно,
и перемигивались свечи.

И книгу о любви, о дымке над Невой,

о неге роз и море мгlistом
я перелистывал и чуял образ твой
в стихе восторженном и чистом.

Дни юности моей, хмельные сны земли,
мне в этот миг волшебнo-звонкий
казались жалкими, как мошки, что ползли
в янтарном блеске по клеенке.

Я звал тебя, я ждал. Шли годы. Я бродил
по склонам жизни каменистым
и в горькие часы твой образ находил
в стихе восторженном и чистом.

И ныне, наяву, ты, легкая, пришла,
и вспоминаю суеверно,
как те глубокие созвучья-зеркала
тебя предсказывали верно.

6 июля 1921 г.

«Как было бы легко, как песенно, как дружно...»

Как было бы легко, как песенно, как дружно
мои моленья бы неслись,
когда бы мы в саду, во храме ночи южной
с тобой нечаянно сошлись.

Свет лунный по кустам, как лоск на мокрых сливах,
там серебритя средь полян.

Бестрепетны цветы. В аллеях молчаливых
медвяный, бархатный туман.

И ветерок вдали рождается, и вскоре
вздыхает жимолость во сне.
За кипарисами угадываешь море.
Чу! Море молится луне.

Скользит оно, скользит, сокрытой страстью вея,
и слышишь и не слышишь ты,
и смутный мотылек, жужжа и розовея,
считает смутные цветы.

9 июля 1921 г.

«От взгляда, лепета, улыбки...»

От взгляда, лепета, улыбки
в душе глубокой иногда
свет загорается незыбкий,
восходит крупная звезда.

И жить не стыдно и не больно;
мгновенье учишься ценить,

и слова одного довольно,
чтоб все земное объяснить.

Груневальд

31 июля 1921 г.

«Позволь мечтать... Ты первое страданье...»

Позволь мечтать... Ты первое страданье
и счастье последнее мое.

Я чувствую движенье и дыханье
твоей души... Я чувствую ее,
как дальнее и трепетное пенье...

Позволь мечтать, о, чистая струна!

Позволь рыдать и верить в упоенье,
что жизнь, как ты, лишь музыки полна.

6 августа 1921 г.

«Мерцательные тикают пружинки...»

Мерцательные тикают пружинки,
и осыпаются календари.

Кружатся то стрекозы, то снежинки,
и от зари недолго до зари.

Но в темном переулке жизни милой,

как в городке на берегу морском,
есть некий гул; он дышит смутной силой,
он ширится; он с детства мне знаком.

И ночью перезвоном волн да кликом
струн, дальних струн, неисчислимых струн,
взволнован мрак, и в трепете великом
встаю на зов, доверчив, светел, юн...

Как чувствуешь чужой души участие,
я чувствую, что ночи звезд полны;
а жизнь летит, горит и гаснет счастье,
и от весны недолго до весны.

14 августа 1921 г.

Рождество

Мой календарь полуопальный
пунцовой цифрою зацвел;
на стекла пальмы и опалы
мороз колдующий навел.

Перистым вылился узором,
лучистой выгнулся дугой,
и мандаринами и бором
в гостинной пахнет голубой.

Берлин

23 сентября 1921 г.

Осенние листья

Стою я на крыльце. Напротив обитает
ценитель древностей; в окошке пастушок
точёный выставлен. В лазури тучка тает,
как розовый пушок.

Гляди, фарфоровый блестящий человечек:
чернеют близ меня два голых деревца,
и сколько золотых рассыпанных сердечек
на ступенях крыльца.

Кембридж

8 ноября 1921 г.

Домой

На мызу, милые! Ящик
вожжю овода прогонит,
и – с Богом! Жаворонок тонет
в звенящем небе, и велик,
и свеж, и светел мир, омытый
недавним ливнем: благодать,

благоуханье. Что гадать?
Все ясно, ясно; мне открыты
все тайны счастья; вот оно:
сырой дороги блеск лиловый;
по сторонам то куст ольховый,
то ива; бледное пятно
усадыбы дальней; рощи, нивы,
среди колосьев васильки;
зеленый склон; изгиб ленивый
знакомой тинистой реки.
Скорее, милые! Рокочет
мост под копытами. Скорей!
И сердце бьется, сердце хочет
взлететь и перегнать коней.
О, звуки, полные былого!
Мои деревья, ветер мой,
и слезы чудные, и слово
непостижимое: домой!

/1917–1922/

Велосипедист

Мне снились полевые дали,
дороги белой полоса,
руль низкий, быстрые педали,
два серебристых колеса.

Восторг мне снился, буйно-юный,
и упоенье быстроты,
и меж столбов стальные струны,
и тень стремительной версты.

Поля, поля, и над равниной
ворона тяжело летит.
Под узкой и упругой шиной
песок бежит и шелестит.

Деревня. Длинная канава.
Сирень цветущая вокруг
избушек серых. Слева, справа
мальчишки выбегают вдруг.

Вдогонку шапку тот бросает,
тот кличет тонким голоском,
и звонко собачонка лает,
вертась пред зыбким колесом.

И вновь поля, и голубеет
над ними чистый небосвод.
Я мчусь, и солнце спину греет,
и вот нежданно поворот.

Колеса косо пробегают,

не попадая в колею.

Деревья шумно обступают.

Я вижу старую скамью.

Но разглядеть не успеваю,
чей вензель вырезан на ней.

Я мимо, мимо пролетаю,
и утихает шум ветвей.

/1917–1922/

Бабочка

(*Vanessa antiopa*)

Бархатно–черная, с теплым отливом сливы
созревшей,
вот распахнулась она; сквозь этот бархат живой
сладостно светится ряд васильково–лазоревых
зерен
вдоль круговой бахромы, желтой, как зыбкая рожь.
Села на ствол, и дышат зубчатые нежные крылья,
то припадая к коре, то обращаясь к лучам...
О, как ликуют они, как мерцают божественно!
Скажешь:
голубоокая ночь в раме двух палевых зорь.
Здравствуй, о, здравствуй, греза березовой
северной рощи!

Трепет, и смех, и любовь юности вечной моей.
Да, я узнаю тебя в Серафиме при дивном свиданье,
крылья узнаю твои, этот священный узор.

/1917–1922/

Кони

Гнедые, грузные, по зелени сырой
весенней пажити, под тусклыми дубами,
они чуть двигались и мягкими губами
вбирали сочные былинки, и зарей,
вечернею зарей полнеба розовело.

И показалось мне, что время обмертвело,
что вечно предо мной стояли эти три
чудовищных коня; и медные отливы
на гривах медлили, и были молчаливы
дубы священные под крыльями зари.

/1917–1922/

Пьяный рыцарь

С тонким псом и смуглым кубком
жарко-рдяного вина,
ночью лунной в замке деда

я загрезил у окна.

В длинном платье изумрудном,
вдоль дубравы на коне
в серых яблоках ты плавно
проскакала при луне.

Встал я, гончую окликнул,
вывел лучшего коня,
рыскал, рыскал по дубраве,
спотыкаясь и звеня;

и всего-то только видел,
что под тrefовой листвой
жемчуговые подковы,
оброненные луной.

/1917–1922/

«Я думаю о ней, о девочке, о дальней...»

Я думаю о ней, о девочке, о дальней,
и вижу белую кувшинку на реке,
и реющих стрижей, и в сломанной купальне
стрекозку на доске.

Там, там встречались мы и весело оттуда

пускались странствовать по шепчущим лесам,
где луч в зеленой мгле являл за чудом чудо,
блистая по листьям.

Мы шарили во всех сокровищницах Божьих;
мы в ивовом кусте отыскивали с ней
то лаковых жучков, то гусениц, похожих
на шахматных коней.

И ведали мы все тропинки дорогие,
и всем березанькам давали имена,
и младшую из них мы назвали: Мария
святая Белизна.

О Боже! Я готов за вечными стенами
неисчислимыя страданья воспрять,
но дай нам, дай нам вновь под теми деревцами
хоть миг, да постоять.

/1917–1922/

Знаешь веру мою?

Слышишь иволгу в сердце моем шелестящем?
Голубою весной облака я люблю,
райский сахар на блюде блестящем;
и люблю я, как льются под осень дожди

и под пестрыми кленами пеструю слякоть.
Есть такие закаты, что хочется плакать,
а иному шепнешь: подожди.
Если ветер ты любишь и ветки сырые,
Божьи звезды и Божьих зверьков,
если видишь при сладостном слове «Россия»
только даль и дожди золотые, косые
и в колосьях лазурь васильков, –
я тебя полюблю, как люблю я могучий,
пышный шорох лесов, и закаты, и тучи,
и мохнатых цветных червяков;
полюблю я тебя оттого, что заметишь
все пылинки в луче бытия,
скажешь солнцу: спасибо, что светишь.

Вот вся вера моя.

1922 г.

«Кто выйдет поутру? Кто спелый плод подметит!..»

Кто выйдет поутру? Кто спелый плод подметит!

Как тесно яблоки висят!

Как бы сквозь них блаженно солнце светит,
стекая в сад.

И сонный, сладостный в аллеях лепет слышен:

то словно каплет на песок
тяжелых груш, пурпурных поздних вишен
пахучий сок.

На выгнутых стволах цветные тени тают;
на листьях солнечный отлив...
Деревья спят, и осы не слетают
с лиловых слив.

Кто выйдет ввечеру? Кто плод поднимет спелый?
Кто вертограда господин?
В тени аллей, один, лилейно-белый,
живет павлин.

1922 г.

Пасха

На смерть отца

Я вижу облако сияющее, крышу,
блестящую вдали, как зеркало... Я слышу,
как дышит тень и каплет свет...
Так как же нет тебя? Ты умер, а сегодня
синеет влажный мир, грядет весна Господня,
растет, зовет... Тебя же нет.

Но если все ручьи о чуде вновь запели,
но если перезвон и золото капли –
не ослепительная ложь,
а трепетный призыв, сладчайшее «воскресни»,
великое «цвети», – тогда ты в этой песне,
ты в этом блеске, ты живешь!..

1922 г.

Грибы

У входа в парк, в узорах летних дней
скамейка светит, ждет кого-то.
На столике железном перед ней
грибы разложены для счета.

Малютки русого боровика –
что пальчики на детской ножке.
Их извлекла так бережно рука
из темных люлек вдоль дорожки.

И красные грибы: иголки, слизь
на шляпках выгнутых дырявых;
они во мраке влажном вознеслись
под хвоей елочек, в канавах.

И бурых подберезовиков ряд,

таких родных, пахучих, мшистых,
и слезы леса летнего горят
на корешочках их пятнистых.

А на скамейке белой – посмотри –
плетеная корзинка боком
лежит, и вся испачкана внутри
черничным лиловатым соком.

13 ноября 1922 г.

«Ясноокий, как рыцарь из рати Христовой...»

Ясноокий, как рыцарь из рати Христовой,
на простор выезжаю, и солнце со мной;
и последние стрелы дождя золотого
шелестят над истомой земной.

В золотое мерцанье, смиренный и смелый,
выезжаю из мрака на легком коне:
Этот конь – ослепительно, сказочно белый,
словно яблонный цвет при луне.

И сияющий дождь, золотясь, замирая
и опять загораясь, – летит и звучит
то земным изумленьем, то трепетом рая,
ударяя в мой пламенный щит.

И на латы слетает то роза, то пламя,
и в лазури живой над грозой бытия
вольно плещет мое лебединое знамя,
неподкупная юность моя!

1 декабря 1922 г.

Волчонок

Один, в рождественскую ночь, скулит
и ёжится волчонок желтоглазый.
В седом лесу зеленый свет разлит,
на пухлых елочках алмазы.

Мерцают звезды на ковре небес,
мерцая, ангелам щекочут пятки.
Взъерошенный волчонок ждет чудес,
а лес молчит, седой и гладкий.

Но ангелы в обителях своих
все ходят и советуются тихо,
и вот один прикинулся из них
большой пушистою волчихой.

И к нежным волочащимся сосцам
зверек припал, пыхтя и жмурясь жадно.

Волчонку, елкам, звездным небесам –
всем было в эту ночь отрадно.

8 декабря 1922 г.

«Как объясню? Есть в памяти лучи...»

Как объясню? Есть в памяти лучи
сокрытые; порою встрепенется
дремавший луч. О муза, научи:
в понятный стих как призрак перельется?
Проезжий праздный в городе чужом,
я, невзначай, перед каким-то домом,
бессмысленно, пронзительно знакомым...
Стой! Может быть, в стихах мы только лжем,
темним и рвем сквозную мысль в угоду
размеру? Нет, я верую в свободу
разумную гармонии живой.
Ты понимаешь, муза, перед домом,
мне, вольному бродяге, незнакомым
и мне – родным, стою я сам не свой
и, к тайному прислушиваясь пенью,
все мелочи мгновенно узнаю:
в сплошном окне косую кисею,
столбы крыльца, и над его ступенью
я чувствую тень шага моего,
иную жизнь, иную чую участь

(дай мне слова, дай мне слова, певучесть),
всё узнаю, не зная ничего.

Какая жизнь, какой же век всплывает,
в безвестных безднах памяти звеня?
Моя душа, как женщина, скрывает
и возраст свой, и опыт от меня.
Я вижу сны. Скитаюсь и гадаю.
В чужих краях жду поздних поездов.
Склоняюсь в гул зеркальных городов,
по улицам волнующим блуждаю:
дома, дома; проулок; поворот –
и вот опять стою я перед домом,
пронзительно, пронзительно знакомым,
и что-то мысль мою темнит и рвет.

Stettin

10 декабря 1922 г.

«Если ветер судьбы, ради шутки...»

В. Ш.

Если ветер судьбы, ради шутки,
дохнув, забросит меня
в тот город желанный и жуткий,
где ты вянешь день ото дня,

и если на улице яркой
иль в гостях, у новых друзей,
или там, у дворца, под аркой,
среди лунных круглых теней,

мы встретимся вновь, – о Боже,
как мы будем плакать тогда
о том, что мы стали несхожи
за эти глухие года;

о юности, в юность влюбленной,
о великой ее мечте;
о том, что дома на Мильонной
на вид уж совсем не те.

1922 г. (?)

Finis

Не надо плакать. Видишь, там – звезда,
там – над листвою, справа. Ах, не надо,
прошу тебя! О чем я начал? Да, –
о той звезде над чернотой сада;

на ней живут, быть может... что же ты,
опять! Смотри же, я совсем спокоен,

совсем... Ты слушай дальше: день был зноен,
мы шли на холм, где красные цветы...

Не то. О чем я говорил? Есть слово:
любовь, – глухой глагол: любить... Цветы
какие-то мне помешали. Ты
должна простить. Ну вот – ты плачешь снова.

Не надо слез! Ах, кто так мучит нас?
Не надо помнить, ничего не надо...
Вон там – звезда над чернотой сада...
Скажи – а вдруг проснемся мы сейчас?

9 января 1923 г.

«Я видел смерть твою, но праздною мольбой...»

Я видел смерть твою, но праздною мольбой
в час невозможный не обидел
голубогрудых птиц, дарованных тобой,
поющих в памяти. Я видел.

Я видел: ты плыла в серебряном гробу,
и над тобою звезды плыли,
и стыли на руках, на мертвом легком лбу
концы сырые длинных лилий.

Я знаю: нет тебя. Зачем же мне молва
необычайная перечит?

«Да полно, – говорит, – она жива, жива,
все так же пляшет и лепечет».

Не верю... Мало ли что люди говорят.

Мой Бог и я – мы лучше знаем...

Глаза твои, глаза в раю теперь горят:
разлучены мы только раем.

10 января 1923 г.

«Как затаю, что искони кочую...»

Как затаю, что искони кочую,
что, с виду радостен и прост,
в душе своей невыносимо чую
громады, гул, кишенье звезд?

Я, жадный и дивящийся ребенок,
я, скрученный из гулких жил,
жемчужных дуг и алых перепонок, –
я ведаю, что вечно жил.

И за бессонные зоны странствий,
на всех звездах, где боль и Бог,
в горящем, оглушительном пространстве

я многое постигнуть мог.

И трудно мне свой чудно–беспольный
огонь сдержать, крыло согнуть,
чтоб невзначай дыханьем звездной бездны
земного счастья не спугнуть.

13 января 1923 г.

Жемчуг

Посланный мудрейшим властелином
страстных мук изведать глубину,
тот блажен, кто руки сложит клином
и скользнет, как бронзовый, ко дну.

Там, исполнен сумрачного гуда,
среди морских свивающихся звезд,
зачерпнет он раковину: чудо
будет в ней, лоснящийся нарост.

И тогда он вынырнет, раздвинув
яркими кругами водный лоск,
и спокойно улыбнется, вынув
из ноздрей побагровевший воск.

Я сошел в свою глухую муку,

я на дне. Но снизу, сквозь струи,
все же внемлю шелковому звуку
уносящейся твоей ладьи.

14 января 1923 г.

Сон

Знаешь, знаешь, обморочно-пьяно
снилось мне, что в пропасти окна
высилась, как череп великана,
костяная, круглая луна.

Снилось мне, что на кровати, криво
выгнувшись под вздутой простыней,
всю подушку заливая гривой,
конь лежал атласно-вороной.

А вверху – часы стенные, с бледным,
бледным человеческим лицом,
поводили маятником медным,
полосуя сердце мне концом.

Сонник мой не знает сна такого,
промолчал, притих перед бедой
сонник мой с закладкой васильковой
на странице, читанной с тобой...

15 января 1923 г.

«В каком раю впервые прожурчали...»

В каком раю впервые прожурчали
истоки сновиденья моего?
Где жили мы, где встретились вначале,
мое кочующее волшебство?

Неслись века. При Августе, из Рима
я выслал в Байи голого гонца
с мольбой к тебе, но ты неуловима
и сказочной осталась до конца.

И не грустила ты, когда при звоне
сирийских стрел и рыцарских мечей
мне снилось: ты – за пряжей, на балконе,
под стражей провансальских тополей.

Среди шелков, левреток, винограда
играла ты, когда я по нагим
волнам в неведомое Эльдorado
был генуэзским гением гоним.

Ты знаешь, Калиостровой науки
мы оправданьем были: годы шли,

вставали за разлуками разлуки
тоской богов и музыкой земли.

И снова в Термидоре одурелом,
пока в тюрьме душа тобой цвела,
а дверь мою тюремщик метил мелом,
ты в Кобленце так весело жила...

И вдоль Невы, всю ночь не спав, раз двести
лепажи зарядив и разрядив,
я шел, веселый, к Делии – к невесте,
все вальсы ей коварные простив.

А после, после, став вполоборота,
так поднимая руку, чтобы грудь
прикрыть локтем, я целился в кого-то
и не успел тугой курок пригнуть.

Вставали за разлуками разлуки,
и вновь я здесь, и вновь мелькнула ты,
и вновь я обречен извечной муке
твоей неуловимой красоты.

16 января 1923 г.

«В кастальском переулке есть лавчонка...»

В кастальском переулке есть лавчонка:
колдун в очках и сизом сюртуке
слова, поблескивающие звонко,
там продает поэтовой тоске.

Там в беспорядке пестром и громоздком
кинжалы, четки – сказочный товар!
В углу – крыло, закапанное воском,
с пометкою привешенной: Икар.

По розам голубым, по пыльным книгам
ползет ручная древняя змея.
И я вошел, заплаканный, и мигом
смекнул колдун, откуда родом я.

Принес футляр малиново-зеленый,
оттуда лиру вытащил колдун,
новейшую: большой позолоченный
хомут и проволоки вместо струн.

Я отстранил ее... Тогда другую
он выложил: старинную, в сухих
и мелких розах – лиру дорогую,
но слишком нежную для рук моих.

Затем мы с ним смотрели самоцветы,
янтарные, сапфирные слова,

слова–туманы и слова–рассветы,
слова бессилия и торжества.

И куклю, и завитками урны
колдун учтиво соблазнял меня;
с любовью гладил волосок лазурный
из гривы баснословного коня.

Быть может, впрямь он был необычаен,
но я вздохнул, откинул огоньки
камней, клинков – и вышел; а хозяин
глядел мне вслед, подняв на лоб очки.

Я не нашел. С усмешкою суровой
сложи, колдун, сокровища свои.
Что нужно мне? Одно простое слово
для горя человеческой любви.

17 января 1923 г.

«И все, что было, все, что будет...»

...И все, что было, все, что будет,
и золотую жажду жить,
и то бессонное, что нудит
на звуки душу разложить,

все объясняли, вызывали
глаза возлюбленной земной,
когда из сумрака всплывали
они, как царство, предо мной.

18 января 1923 г.

«Я где-то за городом, в поле...»

Я где-то за городом, в поле,
и звезды гулом неземным
плывут, и сердце вздулось к ним,
как темный купол гулкой боли.

И в некий напряженный свод –
и все труднее, все суровей –
в моих бессонных жилах бьет
глухое всхлипыванье крови.

Но в этой пустоте ночной,
при этом голом звездном гуле,
вложу ли в барабан резной
тугой и тусклый жемчуг пули

и, дула кисловатый лед
прижав о высохшее небо,
в бесплотный ринусь ли полет

из разорвавшегося гроба?

Или достойно дар приму,
великолепный и тяжелый, —
всю полнозвучность ночи голой
и горя творческую тьму?

20 января 1923 г.

Трамвай

Вот он летит, огнями ночь пробив,
крылатые рассыпав перезвоны,
и гром колес, как песнопений взрыв,
а стекла — озаренные иконы.

И спереди — горящее число
и рая обычайное название.
Мгновенное томит очарование —
и нет его, погасло, пронесло.

И в пенье ускользящего гула,
и в углубленье ночи неживой —
как бы зарница зыбкой синевой
за ним на повороте полыхнула.

Он пролетел, и не осмыслить мне,

что через час мелькнет зарница эта
и стрекотом, и судорогой света
по занавеске... там... в твоём окне.

21 января 1923 г.

Письма

Вот письма, все – твои (уже на сгибах тают
следы карандаша порывистого). Днём,
сложившись, спят они, в сухих цветах, в моем
душистом ящике, а ночью – вылетают,
полупрозрачные и слабые, скользят
и вьются надо мной, как бабочки: иную
поймаю пальцами и на лазурь ночную
гляжу через нее, и звезды в ней сквозят.

23 января 1923 г.

«День за днем, цветущий и летучий...»

День за днем, цветущий и летучий,
мчится в ночь, и вот уже мертво
царство исполинское, дремучий
папоротник счастья моего.

Но хранится, под землей беспечной,

в сердце сокровенного пласта
отпечаток веерный и вечный,
призрак стрекозы, узор листа.

24 января 1923 г.

Эфемеры

Посвящается В. И. Полю

Спадая ризою с дымящихся высот
крутого рая – Слава! Слава! –
клубится без конца, пылает и ползет
поток – божественная лава...

И Сила гулкая, встающая со дна,
вздувает огненные зыби:
растет горячая вишневая волна
с роскошной просинью на сгибе.

Вот поднялась горбом и пеной зацвела,
и нежно лопается пена,
и вырываются два плещущих крыла
из пламенеющего плена.

И ангел восстает стремительно–светло,
в потоке огненном зачатый, –

и в жилках золотых прозрачное крыло
мерцает бахромой зубчатой.

И беззаветную хвалу он пропоет,
на миг сияя над потоком, —
сквозными крыльями восторженно всплеснет,
исчезнет в пламени глубоком.

И вот возник другой из пышного огня,
с таким же возгласом блаженства:
вся жизнь его звенит и вся горит, звеня,
и вся — мгновенье совершенства.

И если смутно мне, и если даль мутна,
я призываю эти зыби:
растет горячая вишневая волна
с роскошной просинью на сгибе...

26 января 1923 г.

«Ты все глядишь из тучи темно-сизой...»

Ты все глядишь из тучи темно-сизой,
и лилия — в светящейся руке;
а я сквозь сон молю о лепестке
и все ищу в изгибах смутной ризы
изгиб живой колена иль плеча.

Мне твоего не выразить подобья
ни в музыке, ни в камне... Исполдлобья
глядят в мой сон два горестных луча.

27 января 1923 г.

«И утро будет: песни, песни...»

И утро будет: песни, песни,
каких не слышно и в раю,
и огненный промчится вестник,
взвив тонкую трубу свою.

Распахивая двери наши,
он пронесется, протрубит,
дыханьем расплавляя чаши
неупиваемых обид.

Весь мир, извилистый и гулкий,
неслыханные острова,
немыслимые закоулки,
как пламя, облетит молва.

Тогда-то, с плавностью блаженной,
как ясновидящие, все
поднимемся, и в путь священный

по первой утренней росе.

30 января 1923 г.

«Глаза прикрою – и мгновенно...»

Глаза прикрою – и мгновенно,
весь легкий, звонкий весь, стою
опять в гостиной незабвенной,
в усадьбе, у себя, в раю.

И вот из зеркала косого
под лепетанье хрусталей
глядят фарфоровые совы –
пенаты юности моей.

И вот, над полками, гортензий
легчайшая голубизна,
и солнца луч, как Божий вензель,
на венском стуле, у окна.

По потолку гудит досада
двух заплутавшихся шмелей,
и веет свежестью из сада,
из глубины густых аллей,

неизъяснимой веет смесью

еловой, липовой, грибной:
там, по сырому пестролесью, –
свист, щебетанье, гам цветной!

А дальше – сон речных извилин
и сенокоса тонкий мед.
Стой, стой, виденье! Но бессилен
мой детский возглас. Жизнь идет,

с размаху небеса ломая,
идет... ах, если бы навек
остаться так, не разжимая
росистых и блаженных век!

3 февраля 1923 г.

«При луне, когда косую крышу...»

При луне, когда косую крышу
лижет металлический пожар,
из окна случайного я слышу
сладкий и пронзительный удар
музыки; и чувствую, как холод
счастья мне душу обдает;
кем–то ослепительно расколот
лунный мрак; и медленно в полет
собираюсь, вынимая руки

из карманов, трепещу, лечу,
но в окне мгновенно гаснут звуки,
и меня спокойно по плечу
хлопает прохожий: «Вы забыли, –
говорит, – летать запрещено».
И застыв, в венце из лунной пыли,
я гляжу на смолкшее окно.

Берлин

6 марта 1924 г.

«Бережно нес я к тебе это сердце прозрачное...»

Бережно нес я к тебе это сердце прозрачное. Кто-то
в локоть толкнул, проходя. Сердце, на камни упав,
скорбно разбилось на песни. Прими же осколки.
Не знаю,
кто проходил, подтолкнул: сердце я бережно нес.

7 марта 1923 г.

Памяти Гумилева

Гордо и ясно ты умер, умер, как Муза учила.
Ныне, в тиши Елисейской, с тобой говорит
о летящем
медном Петре и о диких ветрах африканских –

Пушкин.

19 марта 1923 г.

Родине

Посвящается моей сестре Елене

Воркующею теплотой шестая –
чужая – наливается весна.
Все ждет тебя душа моя простая,
гадая у восточного окна.

Позволь мне помнить холодок щемящий
зеленоватых ландышей, когда
твой светлый лес плывет, как сон шумящий,
а воздух – как дрожащая вода.

Позволь мне жить, искать Творца в творенье,
звать изумленье рифмы и любви.
Не укоряй в час трудного горенья,
что вот я вспомнил ландыши твои.

Как тень твоя, чужой апрель мне сладок.
Взволнованно душа тебя зовет,
текучий блеск твоих дождей и радуг,
когда весь лес лепечет и плывет.

Твой будет взлет неизъяснимо ярок,
а наша встреча – творчески–тиха;
склонюсь, шепну: вот мой простой подарок,
вот капля солнца в венчике стиха.

31 марта 1923 г.

Река

Каждый помнит какую–то русскую реку,
но бессильно запнется, едва
говорить о ней станет: даны человеку
лишь одни человечесьи слова.
А ведь реки, как души, все разные... нужно,
чтоб соседу поведать о них,
знать, пожалуй, русалочий лепет жемчужный,
изумрудную речь водяных.

Но у каждого в сердце, где клад заковала
кочевая стальная тоска,
отзывается внятно, что сердцу, бывало,
напевала родная река.

Для странников верных
качнул я дыханьем души

эти качели слогов равномерных
в бессонной тиши.

Повсюду –
в мороз и на зное –
встретишь
странников этих,
несущих, как чудо,
как бремя страстное,
родину.

Сам я, бездомный,
как-то ночью стоял на мосту
в городе мгlistом,
огромном
и глядел в маслянистую
темноту
рядом с тенью случайно любимой,
стройной, как черное пламя,
да только с глазами
безнадежно чужими.

Я молчал, и спросила она на своем языке:
«Ты меня уж забыл?» –
и не в силах я был
объяснить,
что я там, далеко, на реке
илистой, тинистой, с именем милым,
с именем, что камышовая тишь...
Это словно из ямочки в глине

черно–синий
выстрелит стриж.
И вдоль по сердцу
носится
с криком своим изумленным: вий–вии!
Это было в России,
это было в раю...
Вот,
гладкая лодка плывет
в тихоструйную юность мою,
мимо леса,
полного иволог, солнца, прохлады грибной,
мимо леса,
где березовый ствол чуть сквозит белизной
стройной
в буйном бархате хвойном,
мимо красных крутых берегов
парчевых островков,
мимо плавных полянок сырых, в скабиозах
и лютиках.
Раз! – и тугие уключины
звякают, – раз! – и весло на весу
проливает огнистые слезы
в зеленую тень.
Чу! – в прибрежном лесу
кто–то легко зааукал...
Дремлет цветущая влага, подковы

листьев ползучих, фарфоровый купол
цветка
водяного.

Как мне запомнилась эта река,
узорная, узкая.

Вечереет...

(И как объяснить,
что значило русское
«вечереет»?)

Стрекоза – бирюзовая нить,
два крыла слюдяных – замерла
на перилах купальни...

Солнце в черемухах. Колокол дальний.

Тучки румяные, русые.

Червячка из чехла
выжмешь, за усики
вытащишь, и на крючок.

Ждешь. Клюет.

Сладко дрогнет леса, и блеснет,
шлепнет о мокрые доски
голубая плотва, головастый бычок
или хариус жесткий.

А когда мне удить надоест,
на деревянный навес
взберусь

(...Русь!..)

и оттуда беззвучно ныряю

в отраженный закат...
Ослепленный, плыву наугад,
ширяю,
навзничь ложусь – и не ведаю, где я –
в небесах, на воде ли.
Мошкара надо мною качается
вверх и вниз, вверх и вниз – без конца...
Вечер кончается.
Осторожно сдираю с лица
липкую травку.
В щиколку щиплет малявка:
сладок мне рыбий
слепой поцелуй.
В лиловеющей зыби
узел огненных струй –
и плыву я,
горю,
глотаю зарю
вечеровую...
А теперь в бесприютном краю,
уж давно не снимая котомки,
качаю – ловлю я, качаю – ловлю
строки о русской речонке,
строки, как отблески солнца, бессвязные...
А ведь реки, как души, все разные,
нужно,
чтоб соседу поведать о них,

знать, пожалуй, русалочий лепет жемчужный,
изумрудную речь водяных.

Но у каждого в сердце, где клад заковала
кочевая стальная тоска,
отзывается внятно, что сердцу, бывало,
напевала родная река...

Берлин

8 апреля 1923 г.

«Когда я по лестнице алмазной...»

Когда я по лестнице алмазной
поднимусь из жизни на райский порог,
за плечом, к дубинке легко привязан,
будет заплатанный узелок.

Узнаю: ключи, кожаный пояс,
медную плешь Петра у ворот.
Он заметит: я что-то принес с собою –
и остановит, не отопрет.

«Апостол, скажу я, пропусти мя!..»

Перед ним развяжу я узел свой:
два-три заката, женское имя
и темная горсточка земли родной...

Он поводит строго бровью седую,
но на ладони каждый изгиб
пахнет еще гефсиманской росой
и чешуей иорданских рыб.

И потому–то без трепета, без грусти
приду я, зная, что, звякнув ключом,
он улыбнется и меня пропустит,
в рай пропустит с моим узелком.

21 апреля 1923 г.

«В часы трудов счастливых и угрюмых...»

В часы трудов счастливых и угрюмых
моя благая слушает тоска,
как долгой ночью в исполинских думах
ворочаются в небе облака.

Ударит и скользнет Господь по лире,
здесь отзвук – свет еще одной зари...
Здесь все творит в сладчайшем этом мире
и от меня все требует: твори.

Гул дантовский в тебе я слышу, тополь,
когда ты серебришься пред грозой,
и муравьиный вижу я Акрополь,

когда гляжу на хвойный холм живой.

Поет вода, молясь легко и звонко,
и мотыльковых маленьких мадонн
закат в росинки вписывает тонко
под светлый рассыпающийся звон.

Так как же мне, в часы нагие ночи
томясь в себе, о, как же не творить,
когда весь мир, весь мир упрямый хочет
со мной дышать, гореть и говорить?

28 апреля 1923 г.

«О, как ты рвешься в путь крылатый...»

О, как ты рвешься в путь крылатый,
безумная душа моя,
из самой солнечной палаты
в больнице светлой бытия!

И, бредя о крутом полете,
как топчешься, как бьешься ты
в горячечной рубашке плоти,
в тоске телесной тесноты!

Иль, тихая, в безумье тонком

гудишь–звенишь сама с собой,
вообразив себя ребенком,
сосною, соловьем, совой.

Поверь же соловьям и совам,
терпи, самообман любя, –
смерть гроыхнет тугим засовом
и в вечность выпустит тебя.

2 мая 1923 г.

«Я странствую... Но как забыть? Свистящий...»

Я странствую... Но как забыть? Свистящий
рвал ветер твой платок, дышал прибой,
дышала ты... на гальке шелестящей
прощался я с отчиной и тобой.

Мотало ялик. Полоса тумана
луну пересекала пополам,
вздымалось море отгулом органа,
стекало по заплаканным скалам.

И ты на небывалое изгнанье
благословляла жалобно меня,
и снилось мне, что ночь – твоё дыхание,
что ты умрешь при мановенье дня.

И клялся я, что вечно и повсюду,
на всех распутьях мировой глуши,
о, как беречь, как праздновать я буду
гнев и любовь – бессонницу души.

И море встало. Холодом и дымом
отхлынул берег, весь тобой звеня.
Я странствую... На берегу родимом
ты, верная, еще не ждешь меня.

Берлин

Май 1923 г.

«Нет, бытие – не зыбкая загадка!..»

Нет, бытие – не зыбкая загадка!
Подлунный дол и ясен, и росист.
Мы – гусеницы ангелов; и сладко
въедаться с краю в нежный лист.

Рядись в шипы, ползи, сгибайся, крепни,
и чем жадней твой ход зеленый был,
тем бархатистей и великолепней
хвосты освобожденных крыл.

6 мая 1923 г.

Встреча

И странной близостью закованный...

А. Блок

Тоска, и тайна, и услада...

Как бы из зыбкой черноты

медлительного маскарада

на смутный мост явилась ты.

И ночь текла, иплыли молча

в ее атласные струи

той черной маски профиль волчий

и губы нежные твои.

И под каштаны, вдоль канала,

прошла ты, искоса маня;

и что душа в тебе узнала,

чем волновала ты меня?

Иль в нежности твоей минутной,

в минутном повороте плеч

переживал я очерк смутный

других – неповторимых – встреч?

И романтическая жалость

тебя, быть может, привела
понять, какая задрожала
стихи пронзившая стрела?

Я ничего не знаю. Странно
трепещет стих, и в нем – стрела...
Быть может, необманной, жданной
ты, безымянная, была?

Но недоплаканная горесть
наш замутила звездный час.
Вернулась в ночь двойная прорезь
твоих – непросиявших – глаз...

Надолго ли? Навек? Далече
брожу и вслушиваюсь я
в движенье звезд над нашей встречей...
И если ты – судьба моя...

Тоска, и тайна, и услада,
и словно дальняя мольба...
Еще душе скитаться надо.
Но если ты – моя судьба...

1923 г.

Песня

Верь: вернутся на родину все,
вера ясная, крепкая: с севера
лыжи неслышные, с юга
ночная фелюга.

Песня спасет нас.

Проулками в гору
шел я, в тяжелую шел темноту,
чуждый всему – и крутому узору
черных платанов, и дальнему спору
волн, и кабацким шарманкам в порту.

Ветер прошел по листьям искривленным,
ветер, мой пьяный и горестный брат,
и вдруг затих под окном озаренным:
ночь, ночь – и янтарный квадрат.

Кто-то была та, чей голос горящий
русскою песней гремел за окном?
В сумраке видел я отблеск горящий,
слушал ее под поющим окном.

Как распевала она! Проплывало
сердце ее в лучезарных струях,
как тосковала,
как распевала,

молясь былому в чужих краях,
о полнолуние небывалом,
о небывалых соловьях.

И в темноте пылали звуки, –
рыдающая даль любви,
даль – и цыганские разлуки,
ночь, ночь – и в роще соловьи.

Но проносился ветер с моря
дыханьем соли и вина,
и гармонического горя
спадала жаркая волна.
Касался грубо ветер с моря
глициний вдоль ее окна,
и вновь, как бы в блаженстве горя,
пылала звуками она...
О чем? О лепестке завялом,
о горестной своей красе,
о полнолуние небывалом,
о небывалом –
ветер! Вернутся на родину все,
вера ясная, крепкая: с севера
лыжи неслышные, с юга ночная фелюга...
Все.

1923 г.

Прованс

1

Как жадно, затая дыханье,
склоня колена и плеча,
напьюсь я хладного сверканья
из придорожного ключа.

И, запыленный и счастливый,
лениво развяжу в тени
евангелической оливы
сандалий узкие ремни.

Под той оливой, при дороге,
бродячей радуясь судьбе,
без удивленья, без тревоги,
быть может, вспомню о тебе.

И пеньем дум моих влекома,
в лазури лиловой дня,
в знакомом платье незнакома,
пройдешь ты, не узнав меня.

2

Слоняюсь переулками без цели,

прислушиваюсь к древним временам:
при Цезаре цикады те же пели,
и то же солнце стлалось по стенам.

Поет платан, и ствол в пятнистом блеске;
поет лавчонка; можно отстранить
легко звенящий бисер занавески:
поет портной, вытягивая нить.

И женщина у круглого фонтана
поет, полощет синее белье,
и пятнами ложится тень платана
на камни, на корзину, на нее.

Как хорошо в звенящем мире этом
скользить плечом вдоль меловых оград,
быть русским заблудившимся поэтом
среди лепета латинского цикад!

Сольес–Пон

1923 г.

«Зовешь, – а в деревце гранатовом совенок...»

Зовешь, – а в деревце гранатовом совенок
полаивает, как щенок.

В вечерней вышине так одинок и звонок

луны изогнутый клинок.

Зовешь, – и плещет ключ вечернею лазурью.

Как голос твой, вода свежа,

и в глиняный кувшин, лоснящийся глазурию,

луна вонзается дрожа.

26 июля 1923 г.

«Как бледная заря, мой стих негромок...»

Как бледная заря, мой стих негромок,

и кратко звуковое бытие,

и вряд ли мой разборчивый потомок

припомнит птичье прозвище мое.

Что ж делать, муза, жизнь моя. Мы будем

в подстрочном примечанье скромно жить.

Не прозвенеть, не высказать мне людям,

что надо Божьей тенью дорожить.

Что Божья тень волнистая сквозь наши

завесы разноцветные видна;

что день и ночь – две дорогие чаши

живой воды и звездного вина.

Не прозвенеть, не высказать – и скоро

мою забудут бледную зарю,
и первая забудет та, которой
последние лучи я подарю.

И все же, муза, счастлив я... Ты нежность,
ты – тишина; с тобой нельзя грустить;
ты в пенье дней житейскую мятежность,
как лишний слог, не можешь допустить.

31 августа 1923 г.

«Ночь свищет, и в пожары млечные...»

Ночь свищет, и в пожары млечные,
в невероятные края,
проваливаясь в бездны вечные,
идет по звездам мысль моя,
как по волнам во тьме неистовой,
где манит Господа рука
растрепанного, серебристого,
скользящего ученика...

2 сентября 1923 г.

«Я помню в плюшевой оправе...»

Я помню в плюшевой оправе

дагеротипную мечту –
и очи в северной дубраве,
и губы в громовом порту.

Но ты... Прямой и тонкой тенью,
как бы ступая по стеклу,
внимая призрачному пенью,
вникая пристально во мглу, –

во мглу, где под железным кленом
я ждал, где, завернув с угла,
сквозные янтари со стоном
текли в сырые зеркала, –

безгласно в эту мглу вошла ты,
и все, что скучно стило встарь,
все сказкой стало: клен зубчатый,
геометрический фонарь...

Ты... Платье черное мне снится,
во взгляде сдержанный огонь,
мне тихо на рукав ложится
продолговатая ладонь.

И вдруг, улыбкою нежданной
блеснув, указываешь мне:
клин теневой, провал обманной

на бледной, на косо́й стене.

Да, правда: город угловатый
играет жизнью колдовской
с тех пор, как в улицу вошла ты
своей стеклянно́ю стопой.

И в этом мире небывалом
теней и света мы одни.
Вчера нам снились за каналом
венецианские огни.

И Гофман из зеркальной двери
вдруг вышел и в плаще прошел,
а под скамьей в темном сквере
я веер костяной нашел.

И непонятный выступ медный
горит сквозь дальнее стекло,
а на стене, косо́й и бледной, –
откуда? – черное крыло.

Гадая, все ты отмечаешь,
все игры вырезов ночных,
заговорю ли – отвечаешь,
как бы доканчивая стих.

Таинственно скользя по гласным,
ты шепчешь, замираешь ты,
и на лице твоём неясном
ловлю я тень моей мечты.

А там над улицею сонной,
черты земные затая,
стеною странно освещенной
стоит за мною жизнь моя.

Берлин

25 сентября 1923 г.

«Санкт-Петербург – узорный иней...»

Санкт-Петербург – узорный иней,
ex libris беса, может быть,
но дивный... Ты уплыл, и ныне
мне не понять и не забыть.

Мой Пушкин бледной ночью, летом,
сей отблеск объяснял своей
Олениной, а в пенье этом
сквозная тень грядущих дней.

И ныне: лепет любопытных,
прах, нагота, крысиный шурк

в книгохранилищах гранитных;
и ты уплыл, Санкт–Петербург.

И, долетая сквозь туманы
с воздушных площадей твоих,
меня печалит музы пьяной
скуластый и осипший стих.

Берлин

25 сентября 1923 г.

Гроза

Стоишь ли, смотришь ли с балкона,
деревья ветер гнет, и сам
шалеет от игры, от звона
с размаху хлопающих рам.

Клубятся дымы дождевые
по заблеставшей мостовой
и над промокшею впервые
зелено–яблочной листвой.

От плеска слепну: ливень, снег ли,
не знаю. Громовой удар,
как будто в огненные кегли
чугунный прокатился шар.

Уходят боги, громыхая,
стихает горняя игра,
и вот вся улица пустая –
лист озаренный серебра.

И с неба липою пахнуло
из первой ямки голубой,
и влажно в памяти скользнуло,
как мы бежали раз с тобой:

твой лепет, завитки сырые,
лучи смеющихся ресниц.
Наш зонтик, капли золотые
на кончиках раскрытых спиц...

1923 г.

Автобус

Расшатывая сумрак бурый
огнями, жестяным горбом,
на шинах из слоновой шкуры
гремящий прокатился дом.

И вслед качнувшейся громаде,
как бы подхвачен темнотой,

я кинулся и вспрыгнул сзади
и взмыл по лестнице витой.

И там, придерживая шляпу,
в свистящей сырости ночной
я видел: выбросила лапу
и скрылась ветка надо мной.

И вспомнил: допотопный ужас,
бег, топот, выгибы клыков...
Пускай в гранатовые лужи
стекают стекла кабаков, —

пожарище тысячелетий,
душа дремучая моя,
отдай же мне огонь и ветер,
грома иного бытия!

Когда я, легкий, низколобий,
на ветке повисал один
над обезумевшею злобой
бегущих мамонтовых спин.

5 октября 1923 г.

Барс

Пожаром яростного крапа
маячу в травяной глуши,
где дышит след и росный запах
твоей промчавшейся души.

И в нестерпимые пределы,
то близко, то вдали звеня,
летит твой смех обезумелый
и мучит, и пьянит меня.

Луна пылает молодая,
мед каплет на мой жаркий мех;
бьет, скатывается, рыдая,
твой задыхающийся смех.

И в липком сумраке зеленом
пожаром гибким и слепым
кружусь я, опьяненный звоном,
полетом, запахом твоим...

Но не уйдешь ты! В полнолуние
в тиши настигну у ручья,
сомну тебя, мое безумье
серебряное, лань моя.

1923 г.

«Милая, нежная – этих старинных...»

Милая, нежная – этих старинных,
песенных слов не боюсь и пою..
О, наклоняйся из сумерек длинных
в светлую бездну мою!

Я подарю тебе солнечной масти
рьяных коней, колесницу в цветах,
ибо сейчас я не пристальный мастер,
я – изумленье и взмах.

Милая, нежная, я не ошибся,
часто мне женские снились черты.
Все они были из ломкого гипса,
золото легкое – ты.

Это, пойми, не стихи, а дыханье,
мреющий венчик над страстью моей,
переходящий в одно колыханье
неизмеримых зыбей.

17 октября 1923 г.

«Из мира уползли – и ноют на луне...»

Из мира уползли – и ноют на луне

шарманщики воспоминаний...

Кто входит? Муза, ты? Нет, не садись ко мне:
я только пасмурный изгнанник.

Полжизни – тут, в столе; шуршит она в руках;
тетради трогаю, хрустящий
клин веера, стихи – души певучий прах, –
и грудью задвигаю ящик...

И вот уходит все, и я – в тенях ночных,
и прошлое горит неярно,
как в черепе сквозном, в провалах костяных
зажженный восковой огарок...

И ланнеровский вальс не может заглушить...
Откуда?.. Уходи... Не надо...
Как были хороши... Мне лепестков не сшить,
а тлен цветочный сладок, сладок...

Не говори со мной в такие вечера,
в часы томленья и тумана,
когда мне чудится невнятная игра
ушедших на луну шарманок...

Ноябрь 1923 г.

«Я Индией невидимой владею...»

Я Индией невидимой владею:

приди под синеву мою.

Я прикажу нагому чародею

в запястье обратить змею.

Тебе, неопикуемой царевне,

отдам за поцелуй Цейлон,

а за любовь – весь мой роскошный, древний,

тяжелозвездный небосклон.

Павлин и барс мой, бархатно–горящий,

тоскуют; и кругом дворца

шумят, как ливни, пальмовые чащи,

все ждем мы твоего лица.

Дам серьги – два стекающих рассвета,

дам сердце – из моей груди.

Я царь, и если ты не веришь в это,

не верь, но все равно, приди!

7 декабря 1923 г.

Видение

В снегах полуночной пустыни

мне снилась мать всех берез,

и кто-то — движущийся иней —
к ней тихо шел и что-то нес.

Нес на плече, в тоске высокой,
мою Россию, детский гроб;
и под березой одинокой
в бледно-пылящемся сугроб

склонился в трепетанье белом,
склонился, как под ветром дым.
Был предан гробик с легким телом
снегам невинным и немым.

И вся пустыня снеговая,
молясь, глядела в вышину,
где плыли тучи, задевая
крылами тонкими луну.

В просвете лунного мороза
то колебалась, то в дугу
сгибалась голая береза,
и были тени на снегу

там, на могиле этой снежной,
сжимались, разгибались вдруг,
заламывались безнадежно,
как будто тени Божьих рук.

И поднялся, и по равнине
в ночь удалился навсегда
лик Божества, виденье, иней,
не оставляющий следа...

1924 г.

Об ангелах

1

Неземной рассвет блеском облил...

Миры прикатили: распрягай!

Подняты огненные оглобли.

Ангелы. Балаган. Рай.

Вспомни: гиганты промахивают попарно,

торгуют безднами. Алый пар

от крыльев валит. И лучезарно

кипит божественный базар.

И в этом странствуя сиянье,

там я купил – за песнь одну –

женскую душу и в придачу нанял

самую дорогую весну.

2

Представь: мы его встречаем
вон там, где в лисичках пень,
и был он необычаен,
как радуга в зимний день.

Он хвойную занозу
из пятки босой тащил.
Сквозили снега и розы
праздно склоненных крыл.

Наш лес, где была черника
и телесного цвета грибы,
вдруг пронзен был дивным криком
золотой, неземной трубы.

И он нас увидел; замер,
оглянул людей, лес
испуганными глазами
и, вспыхнув крылом, исчез.

Мы вернулись домой с сырыми
грибами в узелке
и с рассказом о серафиме,
встреченном в сосняке.

1924 г.

Смерть

Утихнет жизни рокот жадный,
и станет музыкою тишь,
гость босоногий, гость прохладный,
ты и за мною прилетишь.

И душу из земного мрака
поднимешь, как письмо, на свет,
ища в ней водяного знака
сквозь тени суетные лет.

И просияет то, что сонно
в себе я чую и таю,
знак нестираемый, исконный,
узор, придуманный в раю.

О, смерть моя! С землей уснувшей
разлука плавная светла:
полет страницы, соскользнувшей
при дуновенье со стола.

1924 г.

Скитальцы

За громадные годы изгнания,
вся колючим жаром дыша,
исходила ты мироздания,
о, косматая наша душа.

Семимильных сапог не обула,
и не мчал тебя чародей,
но от пыльных зловоний Стамбула
до парижских литых площадей,

от полярной губы до Бискры,
где с арабом прильнула к ручью,
ты прошла и сыпала искры,
если трогали шерсть твою.

Мы, быть может, преступнее, краше,
голодней всех племен мирских.
От языческой нежности нашей
умирают девушки их.

Слишком вольно душе на свете.
Встанет ветер всея Руси,
и душа скитальцев ответит,
и ей ветер скажет: неси.

И по ребрам дубовых лестниц
мы прикатим с собой на пир

бочки солнца, тугие песни
и в рогожу завернутый мир.

1924 г.

На рассвете

Я показывал твой смятый снимок
трем блудницам. Плыл кабак ночной,
Рассвело. Убогий город вымок
в бледном воздухе. Я шел домой.

Освещенное окно, где черный
человечек брился, помню; стон
первого трамвая; и просторный,
тронутый рассветом небосклон.

Боль моя лучи свои простерла,
в небеса невысохшие шла.
Голое переполнялось горло
судорогой битого стекла.

И окно погасло: кончил бриться.
День рабочий, бледный, впереди.
А в крови все голос твой струится:
навсегда, сказала, уходи.

И подумала; и где-то капал
кран; и повторила: «навсегда».
В обмороке, очень тихо, на пол
тихо соскользнула, как вода.

Берлин

8 февраля 1924 г.

Гость

Хоть притупилась шпага, и сутулей
вхожу в сады, и запылен
мой черный плащ, – душа все тот же улей
случайно-сладостных имен.

И ни одна не ведает, внимая
моей заученной мольбе,
что рядом склеп, где статуя немая,
воспоминанье о тебе.

О, смена встреч, обманы вдохновенья.
В обманах смысл и сладость есть:
не жажда невозможного забвенья,
а увлекательная месть.

И вот душа вздыхает, как живая,
при убедительной луне,

в живой душе искусно вызывая
все то, что умерло во мне.

Но только с ней поникну в сумрак сладкий,
и дивно задрожит она,
тройным ударом мраморной перчатки
вдруг будет дверь потрясена.

И вспомнится испанское сказанье,
и тяжко из загробных стран
смертельное любви воспоминанье
войдет, как белый великан.

Оно сожмет, торжественно, без слова,
мне сердце дланью ледяной,
и пламенные пропасти былого
вдруг распахнутся предо мной.

Но, не поняв, что сердцу нежеланна,
что сердце темное мертво,
доверчиво лепечет Донна Анна,
не видя гостя моего.

1924 г.

Кубы

Сложим крылья наших видений.

Ночь. Друг на друга дома углами

валяются. Перешиблены тени.

Фонарь – сломанное пламя.

В комнате деревянный ветер косит

мебель. Зеркалу удержать трудно

стол, апельсины на подносе.

И лицо мое изумрудно.

Ты – в черном платье, полет, поэма

черных углов в этом мире пестром.

Упираешься, траурная теорема,

в потолок коленом острым.

В этом мире страшном, не нашем, Боже,

буквы жизни и целые строки

наборщики переставили. Сложим

крылья, мой ангел высокий.

1924 г.

Стансы

Ничем не сможешь подписи косою

судьбы на человеческой ладони,

ни грубыми трудами, ни росой

всех аравийских благовоний.

Ничем не сможешь взгляда моего,
тобой допущенного на мгновенье.

Не знаешь ты, как страшно волшебство
бесплотного прикосновенья.

И в этот миг, пока дышал мой взгляд,
издалека тобою обладавший,
моя мечта была сильнее стократ
твоей судьбы, тебя создавшей.

Но кто из нас мечтать не приходил
к семейственной и глупой Мона Лизе,
чей глаз, как всякий глаз, составлен был
из света, жилочек и слизи?

О, я рифмую радугу и прах.

Прости, прости, что рай я уничтожил,
в двух бархатных и пристальных мирах
единый миг как бог я прожил.

Да будет так. Не в силах я тебе
открыть, с какою жадностью певучей,
с каким немым доверием судьбе
невыразимой, неминучей...

1924 г.

La bonne Lorraine

Жгли англичане, жгли мою подругу,

на площади в Руане жгли ее.

Палач мне продал черную кольчугу,

клювастый шлем и мертвое копье.

Ты здесь со мной, железная святая,

и мир с тех пор стал холоден и прост:

косая тень и лестница витая,

и в бархат ночи вбиты гвозди звезд.

Моя свеча над ржавою резьбою

дрожит и каплет воском на ремни.

Мы, воины, летали за тобою,

в твои цвета окрашивая дни.

Но опускала ночь свое забрало,

и, молча выскользнув из лат мужских,

ты, белая и слабая, сгорала

в объятьях верных рыцарей твоих.

Берлин

1924 г.

Молитва

Пыланье свеч то выявит морщины,
то по белку блестящему скользнет.
В звездах шумят древесные вершины,
и замирает крестный ход.

Со мною ждет ночь темно-голубая,
и вот, из мрака, церковь огибая,
пасхальный вопль опять растет.

Пылай, свеча, и трепетные пальцы
жемчужинами воска ороси.

О милых мертвых думают скитальцы,
о дальней молятся Руси.

А я молюсь о нашем дивьем диве,
о русской речи, плавной, как по ниве
движенье ветра... Воскреси!

О, воскреси душистую, родную,
косноязычный сон ее гнетет.

Искажена, искромсана, но чую
ее невидимый полет.

И ждет со мной ночь темно-голубая,
и вот, из мрака, церковь огибая,
пасхальный вопль опять растет.

Тебе, живой, тебе, моей прекрасной,

вся жизнь моя, огонь несметных свеч.
Ты станешь вновь, как воды, полногласной,
и чистой, как на солнце меч,
и величавой, как волнение нивы.
Так молится ремесленник ревнивый
и рыцарь твой, родная речь.

1924 г.

Стихи

Блуждая по заброшенному саду,
я видел, в полдень, в воздухе слепом,
двух бабочек глазастых, до упаду
хохочущих над бархатным пупом
подсолнуха. А в городе однажды
я видел дом: был у него такой
вид, словно он смех сдерживает; дважды
прошел я мимо, и потом рукой
махнул и рассмеялся сам; а дом, нет,
не прыснул: только в окнах огонек
лукавый промелькнул. Все это помнит
моя душа; все это ей намек,
что на небе по-детски Бог хохочет,
смотря, как босоногий серафим
вниз перегнулся и наш мир щекочет
одним лазурным перышком своим.

1924 г.

Санкт-Петербург

Ко мне, туманная Леила!
Весна пустынная, назад!
Бледно-зеленые ветрила
дворцовый распускает сад.

Орлы мерцают вдоль опушки.
Нева, лениво шелестя,
как Лета льется. След локтя
оставил на граните Пушкин.

Леила, полно, перестань,
не плачь, весна моя былая.
На вывеске плавучей – глянь –
какая рыба голубая.

В Петровом бледном небе – штиль,
флотилия туманов вольных,
и на торцах восьмиугольных
все та же золотая пыль.

Берлин

26 мая 1924 г.

Вечер

Я в угол сарая кирку и лопату
свалил с плеча и пот отер
и медленно вышел навстречу закату
в прохладный розовый костер.

Он мирно пылал за высокими буками,
между траурных ветвей,
где вспыхнул на миг драгоценными звуками
напряженный соловей.

И сдавленный гам, жабий хор гуттаперчевый
на пруду упруго пел.
Осекся. Пушком мимолетным доверчиво
мотылек мне лоб задел.

Темнели холмы: там блеснул утешительный
трепет огоньков ночных.
Далече пропыхивал поезд. И длительно
свистнул... длительно утих...

И пахло травой. И стоял я без мысли.
Когда же смолк туманный гуд,
заметил, что смерклось, что звезды нависли,
что слезы по лицу текут.

10 июля 1924 г.

«Откуда прилетел? Каким ты дышишь горем?..»

Откуда прилетел? Каким ты дышишь горем?

Скажи мне, отчего твои уста, летун,
как мертвые, бледны, а крылья пахнут морем?

И демон мне в ответ: «Ты голоден и юн,
но не насытишься ты звуками. Не трогай
натянутых тобой нестройных этих струн.

Нет выше музыки, чем тишина. Для строгой
ты создан тишины. Узнай ее печать
на камне, на любви и в звездах над дорогой».

Исчез он. Тает ночь. Мне Бог велел звучать.

Берлин

27 сентября 1924 г.

Страна стихов

Дай руки, в путь! Найдем среди планет
пленительных такую, где не нужен
житейский труд. От хлеба до жемчужин

все купит звон особенных монет.

И доступа злым и бескрылым нет
в блаженный край, что музой обнаружен,
где нам дадут за рифму целый ужин
и целый дом за правильный сонет.

Там будем мы свободны и богаты...
Какие дни. Как благостны закаты.
Кипят ключи кастальские во мгле.

И, глядя в ночь на лунные оливы
в стране стихов, где боги справедливы,
как тосковать мы будем о земле!

1924 г.

Исход

Муза с возгласом, со вздохом шумным
у меня забила на руках.
В звездном небе, тихом и безумном,
снежный поднимающийся прах

очертанья принимал, как если
долго вглядываться в облака:
образы гранитные воскресли,

смуглый купол плыл издалека.

Через Млечный Путь бледно-туманный
перекинулись из темноты
в темноту – о муза, как нежданно! –
явственные невские мосты.

И, задев в седом и синем мраке
исполинским куполом луну,
скрипнувшую, как сугроб, Исакий
медленно пронесся в вышину.

Словно ангел на носу фрегата,
бронзовым протянутым перстом
рассекая звезды, плыл куда-то
Всадник, в изумленье неземном.

И по тверди поднимался тучей,
тускло озаренной изнутри,
дом; и вереницею текучей
статуи, колонны, фонари

таяли в просторах ночи синей,
и, неспешно догоняя их,
к Господу несли свой чистый иней
призраки деревьев неживых.

Так проплыл мой город непорочный,
дивно оторвавшись от земли.
И опять в гармонии полночной
только звезды тихие текли.

И тогда моя полуживая
маленькая муза, трепеща,
высунулась робко из-за края
нашего широкого плаща.

Берлин

11 сентября 1924 г.

Костер

На сумрачной чужбине, в чаще,
где ужас очертанья стер,
среди прогалины – горящий,
как сердце жаркое, костер.

Вокруг синеющие тени,
и сквозь летающую сеть
теней и рдяных отражений
склоненных лиц не разглядеть.

Но, отгоняя сумрак жадный,
вот песня вспыхнула в тиши,

гори, гори, костер отрадный,
шинели наши осуши.

И снова всколыхнулись плечи,
и снова полнозвучный взмах,
кипят воинственные речи,
и слезы светятся в глазах.

Зверье, блуждающее в чащах,
лесные духи и ветра
бегут от этих глаз горящих
и от поющего костра.

Зато с каким благоговеньем,
с какою верой в трудный путь,
утешен пламенем и пеньем,
подходит странник отдохнуть.

Берлин

Ноябрь 1924 г.

Утро

Шум зари мне чудился, кипучий
муравейник отблесков за тучей.
На ограду мрака и огня,
на ограду реющего рая

облокачивался Зодчий Дня,
думал и глядел, не раскрывая
своего туманного плаща,
как толпа работников крылатых,
крыльями блестящими треща,
солнце поднимает на канатах.

Выше, выше... выше! Впопыхах
просыпаюсь. Купол занавески,
полный ветра, в синеватом блеске
дышит и спадает. Во дворах
по коврам уже стучат служанки,
и, пальбою плоской окружен,
медяки вымаливает стон
старой, удивительной шарманки.

Берлин

5 декабря 1924 г.

В пещере

Над Вифлеемом ночь застыла.

Я блудную овцу искал.

В пещеру заглянул – и было

виденье между черных скал.

Иосиф, плотник бородатый,

сжимал, как смуглые тиски,
ладони, знавшие когда-то
плоть необструганной доски.

Мария слабая на чадо
улыбку устремляла вниз,
вся умиление, вся прохлада
линялых синеватых риз.

А он, младенец светлоокий
в венце из золотистых стрел,
не видя матери, в потоки
своих небес уже смотрел.

И рядом, в темноте счастливой,
по белизне и бубенцу
я вдруг узнал, пастух ревнивый,
свою пропавшую овцу.

Берлин

11 декабря 1924 г.

К родине

Ночь дана, чтоб думать и курить
и сквозь дым с тобою говорить.

Хорошо... Пошуркивает мышь,
много звезд в окне и много крыш.

Кость в груди нащупываю я:
родина, вот эта кость — твоя.

Воздух твой, вошедший в грудь мою,
я тебе стихами отдаю.

Синей ночью рдяная ладонь
охраняла вербный твой огонь.

И тоскуют впадины ступней
по земле пронзительной твоей.

Так все тело — только образ твой,
и душа — как небо над Невой.

Покурю и лягу, и засну,
и твою почувствую весну:

угол дома, памятный дубок,
граблями расчесанный песок.

1924 г.

Великан

Я вылепил из снега великана,
дал жизнь ему, и в ночь на Рождество
к тебе, в поля, через моря тумана,
я, грозный мастер, выпустил его.

Над ним кружились вороны, как мухи
над головою белого быка.
Его не вьюги создали, не духи,
а только огрубелая тоска.

Слепой, как мрамор, близился он к цели,
Шагал, неотразимый, как зима.
Охотники, плутавшие в метели,
его видали и сошли с ума.

Но вот достиг он твоего предела
и замер вдруг: цвела твоя страна,
ты счастлива была, дышала, рдела,
в твоей стране всем правила весна.

Легка, проста, с душою шелковистой,
ты в солнечной скользила тишине
и новому попутчику так чисто,
так гордо говорила обо мне.

И, перед этим солнцем отступая,

поняв, что с ним соперничать нельзя,
растаяла тоска моя слепая,
вся синевой весеннею сквозя.

Берлин

13 декабря 1924 г.

Шекспир

Среди вельмож времен Елизаветы
и ты блистал, чтил пышные заветы,
и круг брыжей, атласным серебром
обтянутая ляжка, клин бородки –
все было, как у всех... Так в плащ короткий
божественный запахивался гром.

Надменно–чужд тревоге театральной,
ты отстранил легко и беспечально
в сухой венок свивающийся лавр
и скрыл навек чудовищный свой гений
под маскою, но гул твоих видений
остался нам: венецианский мавр
и скорбь его; лицо Фальстафа – вымя
с наклеенными усиками; Лир
бушующий... Ты здесь, ты жив – но имя,
но облик свой, обманывая мир,
ты потопил в тебе любезной Лете.

И то сказать: труды твои привык
подписывать – за плату – ростовщик,
тот Вилль Шекспир, что «Тень» играл в «Гамлете»,
жил в кабаках и умер, не успев
переварить кабанью головизну...

Дышал фрегат, ты покидал отчизну.
Италию ты видел. Нараспев
звал женский голос сквозь узор железа,
звал на балкон высокого инглеза,
томимого лимонною луной
на улицах Вероны. Мне охота
вообразать, что, может быть, смешной
и ласковый создатель Дон Кихота
беседовал с тобою – невзначай,
пока меняли лошадей – и, верно,
был вечер синь. В колодце, за таверной,
ведро звенело чисто... Отвечай,
кого любил? Откройся, в чьих записках
ты упомянут мельком? Мало ль низких,
ничтожных душ оставили свой след –
каких имен не сыщешь у Брантома!
Откройся, бог ямбического грома,
стоустый и немислимый поэт!

Нет! В должный час, когда почуял – гонит
тебя Господь из жизни, – вспоминал

ты рукописи тайные и знал,
что твоего величия не тронет
молвы мирской бесстыдное клеймо,
что навсегда в пыли столетий зыбкой
пребудешь ты безликим, как само
бессмертие... И вдаль ушел с улыбкой.

Декабрь 1924 г.

Гаданье

К полуночи, в сочельник,
под окнами воскрес
повырубленный ельник,
серебряный мой лес.

Средь лунного тумана
я залу отыскал.
Зажги, моя Светлана,
свечу между зеркал.

Заплавает по тазу
волшебный огонек;
причаливает сразу
ореховый челнок.

И в сумерках, где тает

под люструю паркет,
пускай нам погадает
наш седенький сосед.

На выцветшей лазури
ты карты приготовь...
И дедушка то хмурит,
то вскидывает бровь.

И траурные пики
накладывает он
на лаковые лики
оранжевых бубен.

Ну что ж, моя Светлана,
туманится твой взгляд.
Прелестного обмана
нам карты не сулят.

Сам худо я колдую,
а дедушка в гробу,
и нечего седую
допрашивать судьбу.

В смеркающемся блеске
все уплывает вдаль,
хрустальные подвески

и белая рояль.

Огонь в скорлупке малой
потух... И ты исчез,
мой ельник небывалый,
серебряный мой лес.

1924 г.

Мать

Смеркается. Казнен. С Голгофы отвалив,
спускается толпа, вьясь между олив,
подобно медленному змию;
и матери глядят, как под гору, в туман
увещающий уводит Иоанн
седую, страшную Марию.

Уложит спать ее и сам приляжет он,
и будет до утра подслушивать сквозь сон
ее рыдания и томленье.
Что, если у нее остался бы Христос,
и плотничал, и пел? Что, если этих слез
не стоит наше искупленье?

Воскреснет Божий Сын, сияньем окружен;
у гроба, в третий день, виденье встретит жен,

вотще купивших ароматы;
светящуюся плоть ощупает Фома;
от веянья чудес земля сойдет с ума,
и будут многие распяты.

Мария, что тебе до бреда рыбарей!
Неосвязаемо над горестью твоей
дни проплывают, и ни в третий,
ни в сотый, никогда не вспрянет он на зов,
твой смуглый первенец, лепивший воробьев
на солнцепеке, в Назарете.

Берлин 1925 г.

Герб

Лишь отошла земля родная,
в соленой тьмедохнул норд-ост,
как меч алмазный, обнажая
среди облаков стремнину звезд.

Мою тоску, воспоминанья
клянусь я царственно беречь
с тех пор, как принял герб изгнанья:
на черном поле звездный меч.

1925 г.

Конькобежец

Плясать на льду учился он у музы,
у зимней Терпсихоры... Погляди:
открытый лоб, и черные рейтузы,
и огонек медали на груди.

Он вьется, и под молнией алмазной
его непостижимого конька
ломается, растет звездообразно
узорное подобие цветка.

И вот на льду густом и шелковистом
подсолнух обрисован. Но постой –
не я ли сам, с таким певучим свистом,
коньком стиха блеснул перед тобой.

Оставил я один узор словесный,
мгновенно раскружившийся цветок.
И завтра снег бесшумный и отвесный
запорошит исчерченный каток.

1925 г.

Весна

Помчал на дачу паровоз.
Толпою легкой, оробелой
стволы взбегают на откос:
дым засквозил волною белой
в апрельской пестроте берез.
В вагоне бархатный диванчик
еще без летнего чехла.
У рельс на желтый одуванчик
садится первая пчела.

Где был сугроб, теперь дырявый
продолговатый островок
вдоль зеленеющей канавы:
покрылся копотью, размок
весною пахнувший снежок.

В усадьбе сумерки и стужа.
В саду, на радость голубям,
блистает облачная лужа.
По старой крыше, по столбам,
по водосточному колену –
помазать наново пора
зеленой краской из ведра –
ложится весело на стену
тень лестницы и маляра.

Верхи берез в лазури свежей,

усадьба, солнечные дни –
все образы одни и те же,
все совершеннее они.
Вдали от ропота изгнанья
живут мои воспоминанья
в какой-то неземной тиши:
бессмертно все, что неозвратно,
и в этой вечности обратной
блаженство гордое души.

1925 г.

Берлинская весна

1

Нищетою необычной
на чужбине дорожу.
Утром в ратуше кирпичной
за конторкой не сажу.

Где я только не шатаюсь
в пустоте весенних дней!
И к подруге возвращаюсь
все позднее и позднее.

В полумраке стул задену
и, нащупывая свет,

так растопаюсь, что в стену
стукнет яростно сосед.

Утром он наполовину
открывать окно привык,
чтобы высунуть перину,
как малиновый язык.

Утром музыкант бродячий
двор наполнит до краев
при участии горячей
суматохи воробьев.

Понимают, слава богу,
что всему я предпочту
дикую мою дорогу,
золотую нищету.

2

Когда весеннее мечтанье
влечет в синеющую мглу,
мне назначается свиданье
под тем каштаном на углу.

Его цветущая громада
туманно звездами сквозит.

Под нею – черная ограда
и ящик спереди прибит.

Я приникаю к самой щели,
ловлю волнующийся гам,
как будто звучно закипели
все письма, спрятанные там.

Еще листов не развернули,
еще никто их не прочел...
Гуди, гуди, железный улей,
почтовый ящик, полный пчел.

Над этим трепетом и звоном
каштан раскидывает кров,
и сладко в сумраке зеленом
сияют факелы цветов.

1925 г.

Сон

Однажды ночью подоконник
дождем был шумно орошен.
Господь открыл свой тайный сонник
и выбрал мне сладчайший сон.

Звуча знакомую тревогой,
рыданье ночи дом трясло.
Мой сон был синюю дорогой
через тенистое село.

Под мягкой грудю колеса
скрипели глубоко внизу:
я навзничь ехал с сенокоса
на синем от теней возу.

И снова, тяжело, упрямо,
при каждом повороте сна
скрипела и кренилась рама
дождем дышавшего окна.

И я, в своей дремоте синей,
не знал, что истина, что сон:
та ночь на роковой чужбине,
той рамы беспокойный стон

или ромашка в теплом сене
у самых губ моих, вот тут,
и эти лиственные тени,
что сверху кольцами текут...

1925 г.

Воскресение мертвых

Нам, потонувшим мореходам,
похороненным в глубине
под вечно движущимся сводом,
являлся старый порт во сне:

кайма сбегаящая пены,
на камне две морских звезды,
из моря выросшие стены
в дрожащих отблесках воды.

Но выплыли и наши души,
когда небесная труба
пропела тонко и на суше
распались с грохотом гроба.

И к нам туманная подходит
ладья апостольская, в лад
с волною дышит и наводит
огни двенадцати лампад.

Все, чем пленяла жизнь земная,
всю прелесть, теплоту, красу
в себе божественно вмещая,
горит фонарик на носу.

Луч окунается в морские,
им разделенные струи,
и наших душ ловцы благие
берут нас в тишину ладьи.

Плыви, ладья, в туман суровый,
в залив играющий влечай,
где ждет нас городок портовый,
как мы, перенесенный в рай.

1925 г.

Крушение

В поля, под сумеречным сводом,
сквозь опрокинувшийся дым
прошли вагоны полным ходом
за паровозом огневым:

багажный – запертый, зловещий,
где сундуки на сундуках,
где обезумевшие вещи,
проснувшись, бухают впотьмах, –

и четырех вагонов спальных
фанерой выложенный ряд,
и окна в молниях зеркальных

чередою беглою горят.

Там штору кожаную спустит
дремота, рано подоспев,
и чутко в стукотне и хрусте
отыщет правильный напев.

И кто не спит, тот глаз не сводит
с туманных впадин потолка,
где под сквозящей лампой ходит
кисть задвижного колпака.

Такая малость – винт некрепкий,
и вдруг под самой головой
чугун бегущий, обод цепкий
соскочит с рельсы роковой.

И вот по всей ночной равнине
стучит, как сердце, телеграф,
и люди мчатся на дрезине,
во мраке факелы подняв.

Такая жалость: ночь росиста,
а тут – обломки, пламя, стон...
Недаром дочке машиниста
приснилась насыпь, страшный сон:

Там, завывая на изгибе,
стремилось сонмище колес,
и двое ангелов на гибель
громадный гнали паровоз.

И первый наблюдал за паром,
смеясь, переставлял рычаг,
сияя перистым пожаром,
в летучий вглядывался мрак.

Второй же, кочегар крылатый,
стальной чешуей блистал,
и уголь черною лопатой
он в жар без устали метал.

1925 г.

Тень

К нам в городок приехал в гости
бродячий цирк на семь ночей.
Блистали трубы на помосте,
надулись щеки трубачей.

На площадь, убранную странно,
мы все глядели – синий мрак,
собор Святого Иоанна

и сотня пестрая зевак.

Дыханье трубы затаили,
и над бесшумною толпой
вдруг тишину переступили
куранты звонкою стопой.

И в вышине, перед старинным
собором, на тугой канат,
шестом покачивая длинным,
шагнул, сияя, акробат.

Курантов звон, который длился,
пока в нем пребывал Господь,
как будто в свет преобразился
и в вышине облекся в плоть.

Стена соборная щербата
и ослепительна была;
тень голубая акробата
подвижно на нее легла.

Все выше над резьбой портала,
где в нише – статуя и крест,
тень угловатая ступала,
неся свой вытянутый шест.

И вдруг над башней с циферблатом,
ночную схвачен синевою,
исчез он с трепетом крылатым –
прелестный облик теневой.

И снова заиграли трубы,
меж тем как, потен и тяжел,
в погасших блестках, гаер грубый
за подаяньем к нам сошел.

Шварцвальд

1925 г.

Вершина

Люблю я гору в шубе черной
лесов еловых, потому
что в темноте чужбины горной
я ближе к дому моему.

Как не узнать той хвои плотной
и как с ума мне не сойти
хотя б от ягоды болотной,
заголубевшей на пути.

Чем выше темные, сырые
тропинки вьются, тем ясней

приметы, с детства дорогие,
равнины северной моей.

Не так ли мы по склонам рая
взбираться будем в смертный час,
все то любимое встречая,
что в жизни возвышало нас?

Шварцвальд

1925 г.

Электричество

Играй, реклама огневая,
над зеркалами площадей,
взбирайся, молния ручная,
слова пылающие сей.

Не те, угрозой священной
явившиеся письма,
что сладость отняли мгновенно
у вавилонского вина.

В цветах волшебного пожара
попроще что-нибудь пиши,
во славу ходкого товара,
в утеху бургерской души.

И в лакированной коробке,
в чревовещательном гробу,
послушна штепселю и кнопке,
пой, говори, дуди в трубу.

И не погибель, а погоду
ты нам из рупора вещай.
Своею жизнью грей нам воду,
страницу книги освещай.

Беги по проводу трамвая,
бенгальской искрою шурша,
и ночь сырая, городская
тобою странно хороша.

Но иногда, когда нальется
грозою небо, иногда
земля притихнет вдруг, сожмется,
как бы от тайного стыда.

И вот – как прежде, неземная,
не наша, пролетаешь ты,
прорывы синие являя
непостижимой наготы.

И снова мир, как много сотен

глухих веков тому назад,
и неустойчив, и неплотен,
и Божьим пламенем объят.

1925 г.

Прохожий с елкой

На белой площади поэт
запечатлел твой силуэт.

Домой, в неспражничный мороз,
ты елку черную понес.

Пальто российское до пят.
Калоши по снегу скрипят.

С зубчатой елкой на спине
ты шел по ровной белизне,

сам черный, сгорбленный, худой,
уткнувшись в вост бородой,

в снегах не наших площадей,
с немецкой елочкой своей.

И в поэтический овал

твой силуэт я врисовал.

1925 г.

Лыжный прыжок

Для состязаний быстролетных
на том белеющем холму
вчера был скат на сваях плотных
сколочен. Лыжник по нему

съезжал со свистом; а пониже
скат обрывался: это был
уступ, где становились лыжи
четою ясеневых крыл.

Люблю я встать над бездной снежной,
потуже затянуть ремни...
Бери меня, наклон разбежный,
и в дивной пустоте – распни.

Дай прыгнуть, под гуденье ветра,
под трубы ангельских высот,
не семьдесят четыре метра,
а миль, пожалуй, девятьсот.

И небо звездное качнется,

легко под лыжами скользят,
и над Россией пресечется
моя воздушная стезя.

Увижу инистый Исакий,
огни мохнатые на льду
и, вольно прозвенев во мраке,
как жаворонок, упаду.

Riesengebirge

1926 г.

Ut pictura poesis

М. В. Добужинскому

Воспоминанье, острый луч,
преобрази мое изгнанье,
пронзи меня, воспоминанье
о баржах петербургских туч
в небесных ветреных просторах,
о закоулочных заборах,
о добрых лицах фонарей...
Я помню, над Невой моей
бывали сумерки, как шорох
тушующих карандашей.

Все это живописец плавный
передо мною развернул,
и кажется, совсем недавно
в лицо мне этот ветер дул,
изображенный им в летучих
осенних листьях, зыбких тучах,
и плыл по набережной гул,
во мгле колокола гудели –
собора медные качели...

Какой там двор знакомый есть,
какие тумбы! Хорошо бы
туда перешагнуть, пролезть,
там постоять, где спят сугробы
и плотно сложены дрова,
или под аркой, на канале,
где нежно в каменном овале
синеют крепость и Нева.

1926 г.

«Пустяк – название мачты, план – и следом...»

Пустяк – название мачты, план – и следом
за чайкою взмывает жизнь моя;
и человек на палубе, под пледом,
вдыхающий сиянье, – это я.

Я вижу на открытке глянцевитой
развратную залива синеву,
и белозубый городок со свитой
несметных пальм, и дом, где я живу.

И в этот миг я с криком покажу вам
себя, себя – но в городе другом:
как попугай пощелкивает клювом,
так тереблю с открытками альбом.

Вот это – я и призрак чемодана;
вот это – я, по улице сырой
идуший в вас, как будто бы с экрана,
и расплывающийся слепотой.

Ах, чувствую в ногах отяжелевших,
как без меня уходят поезда,
и сколько стран, еще меня не гревших,
где мне не жить, не греться никогда!

И в кресле путешественник из рая
описывает, руки заломив,
дымок из трубки с присвистом вбирая,
свою любовь – тропический залив.

1926 г.

Комната

Вот комната. Еще полуживая,
но оживет до завтрашнего дня.
Зеркальный шкаф глядит, не узнавая,
как ясное безумье, на меня.

В который раз выкладываю вещи,
знакомлюсь вновь с причудами ключей;
и медленно вся комната трепещет,
и медленно становится моей.

Совершенно. Все призвано к участию
в моем существованье, каждый звук:
скрип ящика, своею доброй пастью
пласты белья берущего из рук.

И рамы, запирающейся плохо,
стук по ночам – отмщенье за сквозняк;
возня мышей, их карликовый грохот
и чей-то приближающийся шаг:

он никогда не подойдет вплотную;
как на воде за кругом круг, идет
и пропадает, и опять я чую,
как он вздохнул и двинулся вперед.

Включаю свет. Все тихо. На перину
свет падает малиновым холмом.
Все хорошо. И скоро я покину
вот эту комнату и этот дом.

Я много знал таких покорных комнат,
но пригляжусь, и грустно станет мне:
никто здесь не полюбит, не запомнит
старательных узоров на стене.

Сухую акварельную картину
и лампу в старом платъице сквозном
забуду сам, когда и я покину
вот эту комнату и этот дом.

В другой пойду: опять однообразность
обоев, то же кресло у окна...
Но грустно мне: чем незаметней разность,
тем, может быть, божественней она.

И может быть, когда похолодеем
и в голый рай из жизни перейдем,
забывчивость земную пожалеем,
не зная, чем обставить новый дом...

1926 г.

Аэроплан

Как поет он, как нежданно
вспыхнул искрою стеклянной,
вспыхнул и поет,
там, над крышами, в глубоком
небе, где блестящим боком
облако встает.

В этот мирный день воскресный
чуден гул его небесный,
бархат громовой.
И у парковой решетки,
на обычном месте, кроткий
слушает слепой:

губы слушают и плечи –
тихий сумрак человеческий,
обращенный в слух.
Неземные реют звуки.
Рядом пес его со скуки
щелкает на мух.

И прохожий, деньги вынув,
замер, голову закинув,
смотрит, как скользят

крылья сизые, сквозные,
по лазури, где большие
облака блестят.

1926 г.

Сны

Странствуя, ночуя у чужих,
я гляжу на спутников моих,
я ловлю их говор тусклый.
Роковых я требую примет:
кто увидит родину, кто нет,
кто уснет в земле нерусской.

Если б знать. Ведь странникам даны
только сны о родине, а сны
ничего не переменят.

Что таить – случается и мне
видеть сны счастливые: во сне
я со станции в именье

еду, не могу сидеть, стою
в тарантасе тряском, узнаю
все толчки весенних рытвин,
еду, с непокрытой головой,
белый, что платок твой, и с душой,

слишком полной для молитвы.

Господи, я требую примет:
кто увидит родину, кто нет,
кто уснет в земле нерусской.
Если б знать. За годом валит год,
даже тем, кто верует и ждет,
даже мне бывает грустно.

Только сон утешит иногда.
Не на области и города,
не на волости и села,
вся Россия делится на сны,
что несметным странникам даны
на чужбине, ночью долгой.

1926 г.

Прелестная пора

В осенний день, блистая, как стекло,
потрескивая крыльями, стрекозы
над лугом вьются. В Оредежь глядится
сосновый лес, и тот, что отражен, –
яснее настоящего. Опавшим

листом шурша, брожу я по тропам,
где быстрым, шелковистым поцелуем
луч паутины по лицу пройдет
и вспыхнет радугой. А небо – небо
сплошь синее, насыщенное светом,
и нежит землю, и земли не видит.

Задумчивый, в усадьбу возвращаюсь.
В гостиной печь затоплена, и в вазах
мясистые теснятся георгины.

Пишу стихи, валяясь на диване,
и все слова без цвета и без веса –
не те слова, что в будущем найдет
воспомяненье. В комнате соседней
играют в бикс: прерывисто, по капле,
по капельке сбегает тонкий звон.

Как перед тем, чтоб на зиму уехать,
в гербарий на шершавую страницу
кладешь очаровательно-увядший
кленовый лист, полоскою бумаги
приклеиваешь стебель, пишешь дату,
чтоб вновь раскрыть альбом благоуханный
да вспомнить деревенский сад, найдя
багряный лист, оранжевый по краю, –
так, некогда, осенний ясный день
я сохранил и ныне им люблюсь.

1926 г.

Годовщина

В те дни, дай Бог, от краю и до краю
гражданская повеет благодать:
все сбудется, о чем за чашкой чаю
мы на чужбине любим погадать.

И вот последний человек на свете,
кто будет помнить наши времена,
в те дни на оглушительном банкете,
шалея от волненья и вина,

дрожащий, слабый, в дряхлом умиленье
поднимется... Но нет, он слишком стар:
черта изгнанья тает в отдаленье,
и ничего не помнит юбиляр.

Мы будем спать, минутные поэты;
я, в частности, прекрасно буду спать,
в бою случайном ангелом задетый,
в родимый прах вернувшийся опять.

Библиофил какой-нибудь, я чую,
найдет в былых, не нужных никому

журналах, отпечатанных вслепую
нерусскими наборщиками, тьму

статей, стихов, чувствительных романов
о том, как Русь была нам дорога,
как жил Петров, как странствовал Иванов
и как любил покорный ваш слуга.

Но подписи моей он не отметит:
забыто все. И, Муза, не беда.
Давай блуждать, давай глазеть, как дети,
на проносящиеся поезда,

на всякий блеск, на всякое движенье,
предоставляя выпренним глупцам
бранить наш век, пенять на сновиденье,
единый раз дарованное нам.

1926 г.

Снимок

На пляже в полдень лиловатый,
в морском каникулярном раю
снял купальщик полосатый
свою счастливую семью.

И замирает мальчик голый,
и улыбается жена,
в горячий свет, в песок веселый,
как в серебро, погружена.

И полосатым человеком
направлен в солнечный песок,
мигнул и щелкнул черным веком
фотографический глазок.

Запечатлела эта пленка
все, что могла она поймать:
оцепеневшего ребенка,
его сияющую мать,

и ведерцо, и две лопаты,
и в стороне песчаный скат.
И я, случайный соглядатай,
на заднем плане тоже снят.

Зимой в неведомом мне доме
покажут бабушке альбом,
и будет снимок в том альбоме,
и буду я на снимке том:

мой облик меж людьми чужими,
один мой августовский день,

моя незнаемая ими,
вотще украденная тень.

Бинц

1927 г.

В раю

Моя душа, за смертью дальней
твой образ виден мне вот так:
натуралист провинциальный,
в раю потерянный чудак.

Там в роще дремлет ангел дикий,
полупавлинье существо.
Ты любознательно потыкай
зеленым зонтиком в него,

соображая, как сначала
о нем напишешь ты статью,
потом... но только нет журнала
и нет читателей в раю.

И ты стоишь, еще не веря
немому горю своему:
об этом синем сонном звере
кому расскажешь ты, кому?

Где мир и названные розы,
музей и птичьи чучела?
И смотришь, смотришь ты сквозь слезы
на безмянные крыла.

Берлин 1927 г.

Расстрел

Бывают ночи: только лягу,
в Россию поплывет кровать;
и вот ведут меня к оврагу,
ведут к оврагу убивать.

Проснусь, и в темноте, со стула,
где спички и часы лежат,
в глаза, как пристальное дуло,
глядит горящий циферблат.

Закрыв руками грудь и шею –
вот-вот сейчас пальнет в меня, –
я взгляда отвести не смею
от круга тусклого огня.

Оцепенелого сознания
коснется тиканье часов,

благополучного изгнанья
я снова чувствую покров.

Но сердце, как бы ты хотело,
чтоб это вправду было так:
Россия, звезды, ночь расстрела
и весь в черемухе овраг [3].

Берлин 1927 г.

Паломник

Хозяин звезд, и ветра зычного,
и вьющихся дорог,
бог–виноградарь, бог коричневый,
смеющийся мой бог,
позволь зарю в стакан мой выдавить,
чтобы небесный хмель
понес, умчал меня за тридевять
синеющих земель.

Я возвращусь в усадьбу отчую
среди клеверных полей;
дом обойду, зерном попотчую
знакомых голубей.

Дни медленные, деревенские...

ложится жаркий свет
на скатерть и под стулья венские

решеткой на паркет.

Там в доме с радужной верандою,
с березой у дверей,
в халате старом проваландаю
остаток жизни сей.

Но часто, ночью, гул бессонницы
нахлынет на постель,
тряхнет, замрет и снова тронется,
как поезд сквозь метель.

И я тогда услышу: вспомни-ка
рыдающий вагон
и счастье странного паломника,
чья Мекка там, где он.

Он рад бывал, скитаясь по миру,
озерам под луной,
вокзалам громовым и номеру
в гостинице ночной.

О, как потянет вдруг на яркую
чужбину, в дальний путь,
как тяжело к окну прошаркаю,
как захочу вернуть
все то дрожащее, весеннее,
что плакало во мне,
и – всякой яви совершеннее –
сон о родной стране.

1927 г.

Сновиденье

Будильнику на утро задаю
урок, и в сумрак отпускаю,
как шар воздушный, комнату мою,
и облегченно в сон вступаю.

Меня берет – уже во сне самом –
как бы вторичная дремота.
Туманный стол. Сидящих за столом
не вижу. Все мы ждем кого-то.

Фонарь карманный кто-то из гостей
на дверь, как пистолет, наводит.
И, ростом выше и лицом светлей,
убитый друг со смехом входит.

Я говорю без удивленья с ним
живым и знаю, нет обмана.
Со лба его сошла, как легкий грим,
смертельная когда-то рана.

Мы говорим. Мне весело. Но вдруг –
заминка, странное стесненье.
Меня отводит в сторону мой друг
и что-то шепчет в объясненье.

Но я не слышу. Длительный звонок
на представленье созывает:
будильник повторяет свой урок,
и день мне веки прорывает.

Лишь миг один неправильный на вид
мир падает, как кошка, сразу
на все четыре лапы и стоит,
знакомый разуму и глазу.

Но, Боже мой, – когда припомнишь сон,
случайно, днем, в чужой гостиной,
или, сверкнув, придет на память он
пред оружейною витриной,

как благодарен силам неземным,
что могут мертвые нам сниться.
Как этим сном, событием ночным,
душа смятенная гордится!

1927 г.

Билет

На фабрике немецкой, вот сейчас, –
дай рассказать мне, муза, без волнения! –

на фабрике немецкой, вот сейчас,
все в честь мою, идут приготовления.

Уже машина говорит: «Жую;
бумажную выглаживаю кашу;
уже пласты другой передаю».
Та говорит: «Нарежу и подкрашу».

Уже найдя свой правильный размах,
стальное многорукое создание
печатает на розовых листах
невероятной станции название.

И человек бесстрастно рассует
те лепестки по ящикам в конторе,
где на стене глазастый пароход,
и роща пальм, и северное море.

И есть уже на свете много лет
тот равнодушный, медленный приказчик,
который выдвинет заветный ящик
и выдаст мне на родину билет.

1927 г.

Родина

Бессмертное счастье наше
Россией зовется в веках.
Мы края не видели краше,
а были во многих краях.

Но где бы стезя ни бежала,
нам русская снилась земля.
Изгнание, где твое жало,
чужбина, где сила твоя?

Мы знаем молитвы такие,
что сердцу легко по ночам;
и гордые музы России
незримо сопутствуют нам.

Спасибо дремучему шуму
лесов на равнинах родных
за ими внушенную думу,
за каждую песню о них.

Наш дом на чужбине случайной,
где мирен изгнанника сон,
как ветром, как морем, как тайной,
Россией всегда окружен.

1927 г.

Кинематограф

Люблю я световые балаганы
все безнадежнее и все нежней.
Там сложные вскрываются обманы
простым подслушиваньем у дверей.

Там для распутства символ есть единый –
бокал вина; а добродетель – шьет.
Между чертами матери и сына
острейший глаз там сходства не найдет.

Там, на руках, в автомобиль огромный
не чуждый состраданья богаты
усердно вносит барышень бездомных,
в тигровый плед закутанных детей.

Там письма спешно пишутся среди ночи:
опасность... трепет... поперек листа
рука бежит... И как разборчив почерк,
какая писарская чистота!

Вот спальня озаренная. Смотрите,
как эта шаль упала на ковер.
Не виден ослепительный юпитер,
не слышен раздраженный режиссер;

но ничего там жизнью не трепещет:
пытливый гость не может угадать
связь между вещью и владельцем вещи,
житейского особую печать.

О да! Прекрасны гонки, водопады,
вращение зеркальной темноты.
Но вымысел? Гармонии услада?
Ума полет? О Муза, где же ты?

Утопит злого, доброго поженит,
и снова, через веки и века,
спешит роскошное воображенье
самоуверенного пошляка.

И вот – конец... Рояль незримый умер,
темно и незначительно пожив.
Очнулся мир, прохладой и шумом
растаявшую выдумку сменив.

И со своей подругою приказчик,
встречая ветра влажного напор,
держа ладонь над спичкою горящей,
насмешливый выносит приговор.

1928 г.

От счастья влюбленному не спится

От счастья влюбленному не спится;
стучат часы; купцу седому снится
в червонном небе вычерченный кран,
спускающийся медленно над трюмом;
мерещится изгнанникам угрюмым
в цвет юности окрашенный туман.

В волненье повседневности прекрасной,
где б ни был я, одним я обуян,
одно зовет и мучит ежечасно:

на освещенном острове стола
граненый мрак чернильницы открытой,
и белый лист, и лампы свет, забытый
под куполом зеленого стекла.

И поперек листа полупустого
мое перо, как черная стрела,
и недописанное слово.

Берлин

1928 г.

Лилит [4]

Я умер. Яворы и ставни
горячий теребил Эол
вдоль пыльной улицы.
Я шел,
и фавны шли, и в каждом фавне
я мнил, что Пана узнаю:
«Добро, я, кажется, в раю».

От солнца заслонясь, сверкая
подмышкой рыжею, в дверях
вдруг встала девочка нагая
с речною лилией в кудрях,
стройна, как женщина, и нежно
цвели сосцы – и вспомнил я
весну земного бытия,
когда из-за ольхи прибрежной
я близко-близко видеть мог,
как дочка мельника меньшая
шла из воды, вся золотая,
с бородкой мокрой между ног.

И вот теперь, в том самом фраке,
в котором был вчера убит,
с усмешкой хищною гуляки
я подошел к моей Лилит.
Через плечо зеленым глазом
она взглянула – и на мне

одежды вспыхнули и разом
испепелились.

В глубине
был греческий диван мохнатый,
вино на столике, гранаты
и в вольной росписи стена.

Двумя холодными перстами
по-детски взяв меня за плеча:
«Сюда», – промолвила она.

Без принужденья, без усилья,
лишь с медленностью озорной,
она раздвинула, как крылья,
свои коленки предо мной.

И обольстителен и весел
был запрокинувшийся лик,
и яростным ударом чресел
я в незабытую проник.

Змея в змее, сосуд в сосуде,
к ней пригнанный, я в ней скользил,
уже восторг в растущем зуде
неописуемый сквозил, –
как вдруг она легко рванулась,
отпрянула и, ноги сжав,
вуаль какую-то подняв,
в нее по бедра завернулась,
и полон сил, на полпути
к блаженству, я ни с чем остался,

и ринулся, и зашатался
от ветра странного. «Впусти», –
я крикнул, с ужасом заметя,
что вновь на улице стою
и мерзко блеющие дети
глядят на булаву мою.
«Впусти», – и козлоногий, рыжий
народ все множился. «Впусти же,
иначе я с ума сойду!»
Молчала дверь. И перед всеми
мучительно я пролил семя
и понял вдруг, что я в аду.

Берлин

1928 г.

Расстрел

Небритый, смеющийся, бледный,
в чистом еще пиджаке,
без галстука, с маленькой медной
запонкой на кадыке,

он ждет, и все зримое в мире –
только высокий забор,
жестянка в траве и четыре
дула, смотрящих в упор.

Так ждал он, смеясь и мигая,
на именинах не раз,
чтоб магний блеснул, озаряя
белые лица без глаз.

Все. Молния боли железной.

Неумолимая тьма.

И воя, кружится над бездной
ангел, сошедший с ума.

1928 г.

Острова

В книге сказок помню я картину:

ты да я на башне угловой.

Стань сюда, и снова я застыну
на ветру, с протянутой рукой.

Там, вдали, где волны завитые
переходят в дымку, различи
острова блаженства, как большие
фиолетовые куличи.

Ибо золотистыми перстами

из особой сладостной земли

пекаря с кудрявыми крылами
их на грани неба испекли.

И должно быть легче там и краше,
и, пожалуй, мы б пустились в даль,
если б наших книг, собаки нашей
и любви нам не было так жаль.

1928 г.

Кирпичи

Ища сокровищ позабытых
и фараоновых мощей,
ученый в тайниках разрытых
набрел на груды кирпичей,
среди которых был десяток
совсем особенных: они
хранили беглый отпечаток
босой младенческой ступни,
собачьей лапы и копытца
газели. Много за них
лихому времени простится –
безрукий мрамор, темный стих,
обезображенные фрески...

Как это было? В синем блеске

я вижу красоту песков.
Жара. Полуденное время.
Еще одиннадцать веков
до звездной ночи в Вифлееме.

Кирпичник спит, пока лучи
пекут, работают беззвучно.
Он спит, пока благополучно
на солнце сохнут кирпичи.
Но вот по ним дитя ступает,
отцовский позабыв запрет,
то скачет, то перебегает,
невольный вдавливая след,
меж тем как, вокруг него играя,
собака и газель ручная
пускаются вперегонки.
Внезапно – окрик, тень руки:
конец летучему веселью.
Дитя с собакой и газелью
скрывается. Все горячей
синеет небо. Сохнут чинно
ряды лиловых кирпичей.

Улыбка вечности невинна.
Мир для слепцов необъясним,
но зрячим все понятно в мире,
и ни одна звезда в эфире,

быть может, не сравнится с ним.

1928 г.

Сирень

Ночь в саду, послушная волненью,
нарастающему в тишине,
потянулась, дрогнула сиренью,
серой и пушистой при луне.

Смешанная с жимолостью темной,
всколыхнулась молодость моя.
И скользнула, при луне огромной,
белизной решетчатой скамья.

И опять на листья без дыханья
пали грозди смутной чередой.
Безымянное воспоминанье,
не засни, откройся мне, постой.

Но едва пришедшая в движенье
ночь моя, туманна и светла,
как в стеклянной двери отраженье,
повернулась плавно и ушла.

1928 г.

К России

Мою ладонь географ строгий
разрисовал: тут все твои
большие, малые дороги,
а жилы – реки и ручьи.

Слепец, я руки простираю
и все земное осязаю
через тебя, страна моя.
Вот почему так счастлив я.

И если правда, что намедни
мне померещилось во сне,
что час беспечный, час последний
меня найдет в чужой стране,

как на покато́й школьной парте,
совьешься ты, подобно карте,
как только отпущу края,
и ляжешь там, где лягу я.

1928 г.

Стансы о коне

На полотнищах, озаренных
игрой малиновых лучей,
условный выгиб окрыленных
Наполеоновых коней.

И цирковое полнолуние,
огромный, снежный круп, оплот
сосредоточенной плясуньи;
песок, и музыка, и пот.

И всадник, по лесу спешащий,
седла поскрипыванье, хруст;
волною счастья шуршащий
по голенищу влажный куст.

И ты, лирическое имя
в газете уличной, скакун,
гнедым огнем летящий мимо
тобою вспыхнувших трибун.

И столь покорный конь манежный,
и Фальконетов конь живой.
Но самый жалостный и нежный,
невыносимый образ твой:

обросший шерстью с голодухи,
не чующий моей любви,

и без конца щекочут мухи
ресницы длинные твои.

1929 г.

«Для странствия ночного мне не надо...»

Для странствия ночного мне не надо
ни кораблей, ни поездов.
Стоит луна над шашечницей сада.
Окно открыто. Я готов.

И прыгает с беззвучностью привычной,
как ночью кот через плетень,
на русский берег речки пограничной
моя беспаспортная тень.

Таинственно, легко, неуязвимо
ложусь на стены чередой,
и в лунный свет, и в сон, бегущий мимо,
напрасно метит часовой.

Лечу лугами, по лесу танцую –
и кто поймет, что есть один,
один живой на всю страну большую,
один счастливый гражданин.

Вот блеск Невы вдоль набережной длинной.

Все тихо. Поздний пешеход,
встречая тень среди площади пустынной,
воображение клянёт.

Я подхожу к неведомому дому,
я только место узнаю...
Там, в темных комнатах, все по-другому
и все волнует тень мою.

Там дети спят. Над уголком подушки
я наклоняюсь, и тогда
им снятся прежние мои игрушки,
и корабли, и поезда.

1929 г.

К музе

Я помню твой приход: растущий звон,
волнение, неведомое миру.

Луна сквозь ветки тронула балкон,
и пала тень, похожая на лиру.

Мне, юному, для неги плеч твоих
казался ямб одеждой слишком грубой.
Но был певуч неправильный мой стих

и улыбался рифмой краснотубой.

Я счастлив был. Над гаснувшим столом
огонь дрожал, вылуцнвал огарок;
и снлось мне: страница под стеклом,
бессмертная, вся в молниях помарок.

Теперь не то. Для утренней звезды
не откажусь от утренней дремоты.
Мне не под силу многие труды,
особенно тщеславия заботы.

Я опытен, я скуп и нетерпим.
Натертый стих блистает чище меди.
Мы изредка с тобою говорим
через забор, как старые соседи.

Да, зрелость живописна, спору нет:
лист виноградный, груша, пол-арбуза
и – мастерства предел – прозрачный свет.
Мне холодно. Ведь это осень, муза.

Берлин

1929 г.

Тихий шум

Когда в приморском городке,
среди ночи пасмурной, со скуки
окно откроешь, вдалеке
прольются шепчущие звуки.

Прислушайся и различи
шум моря, дышащий на сушу,
оберегающий в ночи
ему внимающую душу.

Весь день невнятен шум морской,
но вот проходит день незванный,
позванивая, как пустой
стакан на полочке стеклянной.

И вновь в бессонной тишине
открой окно свое пошире,
и с морем ты наедине
в огромном и спокойном мире.

Не моря шум – в тиши ночной
иное слышно мне гуденье:
шум тихий родины моей,
ее дыханье и биенье.

В нем все оттенки голосов,
мне милых, прерванных так скоро,

и пенье пушкинских стихов,
и ропот памятного бора.

Отдохновенье, счастье в нем,
благословенье над изгнанием.
Но тихий шум не слышен днем
за суетой и дребезжаньем.

Зато в полночной тишине
внимает долго слух неспящий
стране родной, ее шумящей,
ее бессмертной глубине.

Ле-Булю

1929 г.

Облака

Насмешлива, медлительна, легка
их мимика средь синего эфира.
Объятьям подражают облака.

Ленивая небесная сатира
на тщание географа, на лик
изменчивый начертанного мира;
грызет лазурь морская материк.

И – масками чудовищными – часто
проходят образы земных владык:

порою в профиль мертвенно–лобастый
распухнет вдруг воздушная гора
и тает вновь, как тает коренастый

макроцефал, которого вчера
лепили дети красными руками,
а нынче точит оттепель с утра.

И облака плывут за облаками.

25 августа 1929 г.

«Перешел ты в новое жилище...»

На смерть Ю. И. Айхенвальда

Перешел ты в новое жилище,
и другому отдадут на днях
комнату, где жил писатель нищий,
иностранец с книгою в руках.

Тихо было в комнате: страница
изредка шуршала; за окном
вспыхивала темная столица

голубым трамвайным огоньком.

В плотный гроб судьба тебя сложила,
как очки разбитые в футляр...
Тихо было в комнате, но жило
в ней волнение, сокровенный жар.

Ничего не слышали соседи,
а с тобою голос говорил,
то как гул колышущейся меди,
то как трепет ласточкиных крыл,

голос муз, высокое веселье...
Для тебя тот голос не потух
там, где неземное новоселье
ныне празднует твой дух.

Берлин

1929 г.

«Вздохнуть поглубже и, до плеч...»

Вздохнуть поглубже и, до плеч
в крылья вдев расправленные руки,
с подоконника на воздух лечь
и лететь, наперекор науке,
с переменным трепетом стрижа;

вдоль сада пронестись, и метить прямо
в стену, и, перешагнув, над самой
землей скользнуть, и в синеву, дрожа,
взмыть...

Боюсь, не вынесу полета...

Нет, вынес. На полу сижу впотьмах,
и в глазах пестро, и шум в ушах,
и блаженная в плечах ломота.

1929 г.

Воздушный остров

Средь пустоты, над полем дальним,
пласты закатных облаков
казались призраком зеркальным
океанических песков.

Как он блистает, берег гладкий,
необитаемый... Толчок,
дно поднимается под пяткой,
и выхожу я на песок.

Дрожа от свежести и счастья,
стою я, новый Робинзон,
на этой отмели блестящей,
пустой лазурью окружен.

И странно вспоминать минуту
недоумения, когда
нащупала мою каюту
и хищно хлынула вода;

когда она, вращаясь зыбко
в нетерпеливости слепой,
внесла футляр от чьей-то скрипки
и фляжку унесла с собой.

О том, как палуба трещала,
приняв смертельную волну,
о том, как музыка играла,
пока мы бурно шли ко дну,

пожалуй, будет и нетрудно
мне рассказать когда-нибудь...
Да что ж мечтать, какое судно
на остров мой направит путь.

Он слишком призрачен, воздушен.
О нем не знают ничего.
К нему создатель равнодушен.
Он меркнет, тает... нет его.

И я охвачен темнотою,

и сладостно в ушах звеня,
и вздрагивая под рукою,
проходят звезды сквозь меня.

1929 г.

«Шел поезд между скал в ущелии глубоком...»

Шел поезд между скал в ущелии глубоком,
поросшем золотым утесником и дроком;
порой влетал в туннель с отрывистым свистком,
сначала – чернота гремящая, потом –
как будто отсветы сомнительные в гроте,
и снова – яркий день; порой на повороте
был виден из окна сгибающийся змей
вагонов позади и головы людей,
облокотившихся на спущенные рамы.

Сочился апельсин очищенный.

Но самый

прелестный, может быть, из случаев в пути,
когда, без станции, как бы устав идти,
задумывался вдруг мой поезд. Как спокойно,
как солнечно кругом... С назойливостью знойной
одни кузнечики звенят наперебой.

Ища знакомых черт, мне ветерок слепой
потрагивает лоб, и, мучась беззаконным
желаньем, я гляжу на вид в окне вагонном

и упустить боюсь возможную любовь,
и знаю – упусти. Едва ль увижу вновь,
едва ль запомню я те камни, ту поляну,
и вон на ту скалу я никогда не встану.

10–11 марта 1930 г.

Представление

Еще темно. В оркестре стеснены
скелеты музыки, и пусто в зале.
Художнику еще не заказали
густых небес и солнечной стены.

Но толстая растерзана тетрадь,
и розданы страницы лицедеям.
На чердаках уже не холодеем.
Мы ожили, мы начали играть.

И вот сажусь на выцветший диван
с невидимой возлюбленною рядом,
и голый стол следит собачьим взглядом,
как я беру невидимый стакан.

А утром собираемся в аду,
где говорим и ходим, громыхая.
Еще темно. Уборщица глухая

одна сидит в тринадцатом ряду.

Настанет день. Ты будешь королем.
Ты – поселянкой с кистью винограда.
Вы – нищими. А ты, моя отрада,
сама собой, но в платье дорогом.

И вот настал. Со стороны земли
замрела пыль. И в отдаленье зримы,
идут, идут кочующие мимы,
и музыка слышна, и вот пришли.

Тогда–то небожителям нагим
и золотым от райского загара,
исполненные нежности и жара,
представим мир, когда–то милый им.

1930 г.

Снег

О, этот звук! По снегу –
скрип, скрип, скрип –
в валенках кто–то идет.

Толстый крученный лед
остриями вниз с крыши повис.

Снег скрипуч и блестящ.

(0, этот звук!)

Салазки сзади не тащатся —

сами бегут, в пятки бьют.

Сяду и съеду

по крутому, по ровному:

валенки врозь,

держусь за веревочку.

Отходя ко сну,

всякий раз думаю:

может быть, удосужится

меня посетить

тепло одетое, неуклюжее

детство мое.

Берлин

1930 г.

Будущему читателю

Ты, светлый житель будущих веков,

ты, старины любитель, в день урочный

откроешь антологию стихов,

забытых незаслуженно, но прочно.

И будешь ты, как шут, одет на вкус
моей эпохи фрачной и сюртучной.
Облокотись. Прислушайся. Как звучно
былое время – раковина муз.

Шестнадцать строк, увенчанных овалом
с неясной фотографией... Посмей
побрезговать их слогом обветшалым,
опрятностью и бедностью моей.

Я здесь с тобой. Укрыться ты не волен.
К тебе на грудь я прянул через мрак.
Вот холодок ты чувствуешь: сквозняк
из прошлого... Прощай же. Я доволен.

1930 г.

Первая любовь

В листве березовой, осиновой,
в конце аллеи у мостка,
вдруг падал свет от платья синего,
от василькового венка.

Твой образ легкий и блистающий
как на ладони я держу

и бабочкой неулетающей
благоговейно дорожу.

И много лет прошло, и счастливо
я прожил без тебя, а все ж
порой я думаю опасливо:
жива ли ты и где живешь.

Но если встретиться нежданная
судьба заставила бы нас,
меня бы, как уродство странное,
твой образ нынешний потряс.

Обиды нет неизъяснимее:
ты чуждой жизнью обросла.
Ни платья синего, ни имени
ты для меня не сберегла.

И все давным-давно просрочено,
и я молюсь, и ты молись,
чтоб на утопанной обочине
мы в тусклый вечер не сошлись.

1930 г.

Ульдаборг

(перевод с зоорландского)

Смех и музыка изгнаны. Страшен
Ульдаборг, этот город немой.
Ни садов, ни базаров, ни башен,
и дворец обернулся тюрьмой:

математик там плачется кроткий,
там – великий бильярдный игрок.
Нет прикрас никаких у решетки.
О, хотя бы железный цветок,

хоть бы кто–нибудь песней прославил,
как на площади, пачкая снег,
королевских детей обезглавил
из Торвальта силач–дровосек.

И какой–то назойливый нищий
в этом городе ранних смертей,
говорят, все танцмейстера ищет
для покойных своих дочерей.

Но последний давно удавился,
сжег последнюю скрипку палач,
и в Германию переселился
в опаленных лохмотьях скрипач.

И хоть праздники все под запретом

(на молу фейерверки весной
и балы перед ратушей летом),
будет праздник, и праздник большой.

Справа горы и Воцберг алмазный,
слева сизое море горит,
а на площади шепот бессвязный:
Ульдаборг обо мне говорит.

Озираются, жмутся тревожно.
Что за странные лица у всех!
Дико слушают звук невозможный:
я вернулся, и это мой смех –

над запретами голого цеха,
над законами глухонемых,
над пустым отрицанием смеха,
над испугом сограждан моих.

Погляжу на знакомые дюны,
на алмазную в небе грядку,
глубже руки в карманы засуну
и со смехом на плаху взойду.

1930 г.

Окно

Соседний дом в сиренях ночи тонет,
и сумраком становится он сам.
Кой-где забыли кресло на балконе,
не затворили рам.

Внезапно, как раскрывшееся око,
свет зажигается в одном из окон,
к буфету женщина идет.

А тот уж знает, что хозяйке надо,
и жители хрустальные ей рады,
и одного она берет.

Бесшумная, сияя желтым платьем,
протягивает руку, и невнятен
звук выключателя: трик-трак.

Сквозь темноту наклонного паркета
уходит силуэт тропинкой света,
дверь закрывается, и – мрак.

Но чем я так пронзительно взволнован,
откуда эта радость бытия?
И опытом каким волшебно-новым
обогатился я?

1930 г.

Из Калмбрудовой поэмы «Ночное путешествие»
(Vivian Calmbrood's «The Night Journey»)

От Меррифильда до Ольдгрова
однообразен перегон:
все лес да лес со всех сторон.
Ночь холодна, луна багрова.
Тяжелым черным кораблем
проходит дилижанс, и в нем
спят пассажиры, спят, умаясь:
бессильно клонится чело
и вздрагивает, поднимаясь,
и снова никнет тяжело.
И смутно слышатся среди мрака
приливы и отливы снов,
храпенье дюжины носов.

В ту ночь осеннюю, однако,
был у меня всего один
попутчик: толстый господин
в очках, в плаще, в дорожном плече.
По кашлю судя, он к беседе
был склонен, и пока рыдван
катился грузно сквозь туман,
и жаловались на ухабы

колеса, и скрипела ось,
и все трещало и тряслось,
разговорились мы.

«Когда бы

(со вздохом начал он) меня
издатель мой не потревожил,
я б не покинул мест, где прожил
все лето с Троицына дня.

Вообразите гладь речную,
березы, вересковый склон.

Там жил я, драму небольшую
писал из рыцарских времен;
ходил я в сюртучке потертom;
с соседом, с молодым Вордсвортом,
удил форелей иногда
(его стихам вредит вода,
но человек он милый), – словом,
я счастлив был – и признаюсь,
что в Лондон с манускриптом новым
без всякой радости тащусь.

В лирическом служенье музе,
в изображении стихий
люблю быть точным: щелкнул кий,
и слово правильное в лузе;
а вот изволь–ка, погрузясь
в туман и лондонскую грязь,

сосредоточить вдохновенье:

все расплывается, дрожит,
и рифма от тебя бежит,
как будто сам ты привиденье.

Зато как сладко для души
в деревне, где-нибудь в глуши,
внимая думам тиховейным,
котенка за ухом чесать,
ночь многозвездную вкушать
и запивать ее портвейном
и, очинив перо острей,
все тайное в душе своей
певучей предавать огласке.

Порой слежу не без опаски
за резвою игрой стиха:
он очень мил, он просит ласки,
но далеко ли до греха?

Так одномесячный тигренок
по-детски мягок и пузат,
но как он щурится спросонок,
какие огоньки сквозят...

Нет, я боюсь таких котят.

Вам темным кажется сравненье?

Пожалуй, выражусь ясней:

есть кровожадное стремленье
у музы ласковой моей –

пороки бичевать со свистом,
тигрицей прядать огневой,
впиваться вдруг стихом когтистым
в загривок пошлости людской.

Да здравствует сатира! Впрочем,
нет пищи для нее в глухом
журнальном мире, где хлопочем
мы о бессмертии своем.

Дни Ювенала отлетели.

Не воспевать же, в самом деле,
как за крапленую статью
побили Джонсона шандалом?

Нет воздуха в сем мире малом.

Я музу увожу мою.

Вы спросите, как ей живется,
привольно ль, весело? О, да.

Идет, молчит, не обернется,
хоть пристают к ней иногда
сомнительные господа.

К иному критику в немилость
я попадаю оттого,
что мне смешна его унылость,
чувствительное кумовство,
суждений томность, слог жеманный,
обиды отзвук постоянный,
а главное – стихи его.

Бедняга! Он скрипит костями,

бренча на лире жестяной;
он клонится к могильной яме
адамовою головой.
И вообще: поэты много
о смерти ныне говорят;
венки и выцветшая тога –
обыкновенный их наряд.
Ущерб, закат... Петроний новый,
с полуулыбкой на устах,
с последней розой бирюзовой
в изящно сложенных перстах,
садится в ванну. Все готово.
Уж вольной смерти близок час.
Но погоди! Чем резать жилу,
не лучше ль обратиться к мылу,
не лучше ль вымыться хоть раз?»

.

Сей разговор литературный
не занимал меня совсем.
Я сам, я сам пишу недурно,
и что мне до чужих поэм?
Но этот облик, этот голос...
Нет, быть не может...
Между тем
заря с туманами боролась,
уже пронизывала тьму,

и вот к соседу моему
луч осторожный заструился,
на пальце вспыхнуло кольцо,
и подбородок осветился,
а погода и все лицо.
Тут я не выдержал. «Скажите,
как ваше имя?» Смотрит он
и отвечает: «Я – Ченстон».
Мы обнялись.

1931 г.

Формула

Сутулится на стуле
беспалое пальто.
Потемки обманули,
почудилось не то.

Сквозняк прошел недавно,
и душу унесло
в раскрывшееся плавно
стеклянное число.

Сквозь отсветы пропущен
сосудов цифровых,
раздут или расплющен

в алембиках кривых,

мой дух преображался:

на тысячу колец,

вращаясь, размножался

и замер наконец

в хрустальнейшем застое,

в отличнейшем Ничто,

а в комнате пустое

сутулится пальто.

Берлин

1931 г.

Помплимусу

Прекрасный плод, увесистый и гладкий,

ты светишься, как полная луна;

глухой сосуд амброзии несладкой,

душистый холод белого вина.

Лимонами блистают Сиракузы,

Миньону соблазняет апельсин,

но ты один достоин жажды Музы,

когда она спускается с вершин.

1931 г.

Неоконченный черновик

Поэт, печалью промышляя,
твердит прекрасному: прости.
Он говорит, что жизнь земная –
слова на поднятой в пути –
откуда вырванной? – странице
(не знаем и швыряем прочь)
или пролет мгновенной птицы
через светлый зал из ночи в ночь.

Зоил (пройдоха величавый,
корыстью занятый одной)
и литератор площадной
(тревожный арендатор славы)
меня страшатся потому,
что зол я, холоден и весел,
что не служу я никому,
что жизнь и честь мою я взвесил
на пушкинских весах и честь
осмеливаюсь предпочесть.

Берлин 1931 г.

Вечер на пустыре

Вдохновенье, розовое небо,

черный дом с одним окном
огненным. О, это небо,
выпитое огненным окном!
Загородный сор пустынный,
сорная былинка со слезой,
череп счастья, тонкий, длинный,
вроде черепа борзой.
Что со мной? Себя теряю,
растворяюсь в воздухе, в заре;
бормочу и обмираю
на вечернем пустыре.
Никогда так плакать не хотелось.
Вот оно, на самом дне.
Донести тебя, чуть запотелое
и такое трепетное, в целости
никогда так не хотелось мне.
Выходи, мое прелестное,
зацепись за стебелек,
за окно, еще небесное,
иль за первый огонек.
Мир, быть может, пуст и беспощаден,
я не знаю ничего,
но родиться стоит ради
этого дыханья твоего.

Когда-то было легче, проще:
две рифмы – и раскрыл тетрадь.

Как смутно в юности заносчивой
мне довелось тебя узнать.
Облокотившись на перила
стиха, плывущего, как мост,
уже душа вообразила,
что двинулась, и заскользила,
и доплывет до самых звезд.
Но переписанные начисто,
лишась мгновенно волшебства,
бессильно друг за друга прячутся
отяжелевшие слова.

Молодое мое одиночество
среди ночных, неподвижных ветвей;
над рекой изумление ночи,
отраженное полностью в ней;
и сиреневый цвет, бледный баловень
этих первых неопытных стоп,
освещенный луной небывалой
в полутрауре парковых троп;
и теперь увеличенный памятью,
и прочнее, и краше вдвойне,
старый дом, и бессмертное пламя
керосиновой лампы в окне;
и во сне приближение счастья,
дальний ветер, воздушный гонец,
все шумней проникающий в чащу,

наклоняющий ветвь наконец;
все, что время как будто и отняло,
а глядишь – засквозило опять,
оттого что закрыто неплотно,
и уже невозможно отнять.

Мигая, огненное око
глядит сквозь черные персты
фабричных труб на сорные цветы
и на жестянку кривобокую.
По пустырю в темнеющей пыли
поджарый пес мелькает шерстью снежной.
Должно быть, потерялся. Но вдали
уж слышен свист настойчивый и нежный.
И человек навстречу мне сквозь сумерки
идет, зовет. Я узнаю
походку бодрую твою.
Не изменился ты с тех пор, как умер.

Берлин 1932 г.

«Сам треугольный, двукрылый, безногий...»

Сам треугольный, двукрылый, безногий[5],
но с округленным, прелестным лицом,
ижицей быстрой, в безумной тревоге
комнату всю облетая кругом,

страшный малютка, небесный калека,
гость, по ошибке влетевший ко мне,
дико метался, боясь человека,
а человек прижимался к стене,

все еще в свадебном галстуке белом,
выставив руку, лицо отклоня,
с ужасом тем же, но оцепенелым:
только бы он не коснулся меня,

только бы вылетел, только нашел бы
это окно и опять, в неземной
лаборатории, в синюю колбу
сел бы, сложась, ангелочек ночной.

1932 г.

Безумец

В миру фотограф уличный, теперь же
царь и поэт, парнасский самодержец
(который год сидящий взаперти),
он говорил:

«Ко славе низойти

я не желал. Она сама примчалась.

Уж я забыл, где муза обучалась,

но путь ее был прям и одинок.
Я не умел друзей готовить впрок,
из лапы льва не извлекал занозы.
Вдруг снег пошел; гляжу, а это розы.

Блаженный жребий. Как мне дорога
унылая улыбочка врага.

Люблю я неудачника тревожить,
сны обо мне мучительные множить
и теневой рассматривать скелет
завистника прозрачного на свет.

Когда луну я балую балладой,
волнуются деревья за оградой,
вне очереди торопясь попасть
в мои стихи. Доверена мне власть
над всей землей, соседу непослушной.

И счастье так ширится воздушно,
так полнится сияньем голова,
такие совершенные слова
встречают мысль и улетают с нею,
что ничего записывать не смею.

Но иногда – другим бы стать, другим!
О, поскорее! Плотником, портным,
а то еще – фотографом бродячим:
как в старой сказке жить, ходить по дачам,

снимать детей пятнистых в гамаке,
собаку их и тени на песке».

1933 г.

Как я люблю тебя

Такой зеленый, серый, то есть
весь заштрихованный дождем,
и липовое, столь густое,
что я перенести – уйдем.

Уйдем и этот сад оставим,
и дождь, кипящий на тропках
между тяжелыми цветами,
целующими липкий прах.

Уйдем, уйдем, пока не поздно,
скорее, под плащом, домой,
пока еще ты не опознан,
безумный мой, безумный мой!

Держись, молчу. Но с годом каждым,
под гомон птиц и шум ветвей,
разлука та обидней кажется,
обида кажется глупей.

И все страшней, что опрометчиво
проговорюсь и перебую
теченье тихой, трудной речи,

давно проникшей в жизнь мою.

Над краснощекими рабами
лазурь, как лаковая вся,
с накачанными облаками,
едва заметными толчками
передвигающимися.

Ужель нельзя там притулиться
и нет там темного угла,
где темнота могла бы слиться
с иероглифами крыла?
Так бабочка не шевелится
пластом на плесени ствола.

Какой закат! И завтра снова,
и долго-долго быть жаре,
что безошибочно основано
на тишине и мошкаре.

В луче вечернем повисая,
она толчется без конца,
как бы игрушка золотая
в руках немого продавца.

Как я люблю тебя. Есть в этом
вечернем воздухе порой
лазейки для души, просветы
в тончайшей ткани мировой.

Лучи проходят меж стволами.
Как я люблю тебя! Лучи
проходят меж стволами, пламенем
ложатся на стволы. Молчи.
Замри под веткою расцветшей,
вдохни, какое разлилось, –
зажмурься, уменьшись и в вечное
пройди украдкой насквозь.

Берлин 1934 г.

L'Inconnue de la Seine

Торопя этой жизни развязку,
не любя на земле ничего,
все гляжу я на белую маску
неживого лица твоего.

В без конца замирающих струнах
слышу голос твоей красоты.
В бледных толпах утопленниц юных
всех бледней и пленительней ты.

Ты со мною хоть в звуках помешкай,
жребий твой был на счастье скуп,
так ответь же посмертной усмешкой
очарованных гипсовых губ.

Неподвижны и выпуклы веки,
густо слиплись ресницы. Ответь,
неужели навеки, навеки...

А ведь как ты умела глядеть!

Плечи худенькие, молодые,
черный крест шерстяного платка,
фонари, ветер, тучи ночные,
в темных яблоках злая река.

Кто он был, умоляю, поведай,
соблазнитель таинственный твой, –
кудреватый племянник соседа –
пестрый галстучек, зуб золотой?

Или звездных небес завсегда,
друг бутылки, костей и кия,
вот такой же гуляка проклятый,
прогоревший мечтатель, как я?

И теперь, сотрясаясь всем телом,
он, как я, на кровати сидит
в черном мире, давно опустелом,
и на белую маску глядит.

Берлин 1934 г.

На закате

На закате, у той же скамьи,
как во дни молодые мои,

на закате, ты знаешь каком,
с яркой тучей и майским жуком,

у скамьи с полусгнившей доской
высоко над румяной рекой,

как тогда, в те далекие дни,
улыбнись и лицо отверни,

если душам умерших давно
иногда возвращаться дано.

Берлин 1935 г.

«Иосиф Красный, – не Иосиф...»

Иосиф Красный, – не Иосиф
прекрасный: препре –
красный, – взгляд бросив,
сад вырастивший! Вепрь

горный! Выше гор! Лучше ста Лин –
дбергов, трехсот полюсов
светлей! Из–под толстых усов
Солнце России: Сталин!

(Марина Цветаева, пародия)

1937 г.

Мы с тобою так верили

Мы с тобою так верили в связь бытия,
но теперь оглянулся я, и удивительно,
до чего ты мне кажешься, юность моя,
по цветам не моей, по чертам недействительной.

Если вдуматься, это как дымка волны
между мной и тобой, между мелью и тонущим;
или вижу столбы и тебя со спины,
как ты прямо в закат на своем полуночном.

Ты давно уж не я, ты набросок, герой
всякой первой главы, а как долго нам верилось
в непрерывность пути от ложбины сырой
до нагорного вереска.

Париж

1938 г.

Что за ночь с памятью случилось

Что за ночь с памятью случилось?

Снег выпал, что ли? Тишина.

Душа забвенью зря училась:

во сне задача решена.

Решенье чистое, простое

(о чем я думал столько лет?).

Пожалуй, и вставать не стоит:

ни тела, ни постели нет.

Ментона

1938 г.

Поэты[6]

Из комнаты в сени свеча переходит
и гаснет. Плывет отпечаток в глазах,
пока очертаний своих не находит
беззвездная ночь в темно-синих ветвях.

Пора, мы уходим – еще молодые,
со списком еще не приснившихся снов,
с последним, чуть зримым сияньем России
на фосфорных рифмах последних стихов.

А мы ведь, поди, вдохновение знали,
нам жить бы, казалось, и книгам расти,
но музы безродные нас доконали,
и ныне пора нам из мира уйти.

И не потому, что боимся обидеть
свою свободу добрых людей.
Нам просто пора, да и лучше не видеть
всего, что сокрыто от прочих очей:

не видеть всей муки и прелести мира,
окна, в отдаленье поймавшего луч,
лунатиков смирных в солдатских мундирах,
высокого неба, внимательных туч;

красы, укоризны; детей малолетних,
играющих в прятки вокруг и внутри
уборной, кружащейся в сумерках летних;
красы, укоризны вечерней зари;

всего, что томит, обвивается, ранит;
рыданья рекламы на том берегу,
текучих ее изумрудов в тумане[7],
всего, что сказать я уже не могу.

Сейчас переходим с порога мирского

в ту область... как хочешь ее назови:
пустыня ли, смерть, отрешенье от слова,
иль, может быть, проще: молчанье любви.

Молчанье далекой дороги тележной,
где в пене цветов колея не видна,
молчанье отчизны – любви безнадежной –
молчанье зарницы, молчанье зерна.

Париж

1939 г.

К России

Отвяжись, я тебя умоляю!
Вечер страшен, гул жизни затих.
Я беспомощен. Я умираю
от слепых наплываний твоих.

Тот, кто вольно отчизну покинул,
волен выть на вершинах о ней,
но теперь я спустился в долину,
и теперь приближаться не смей.

Навсегда я готов затаиться
и без имени жить. Я готов,
чтоб с тобой и во снах не сходиться,

отказаться от всяческих снов;

обескровить себя, искалечить,
не касаться любимейших книг,
променять на любое наречье
все, что есть у меня, мой язык.

Но зато, о Россия, сквозь слезы,
сквозь траву двух несмежных могил,
сквозь дрожащие пятна березы,
сквозь все то, чем я смолоду жил,

дорогими слепыми глазами
не смотри на меня, пожалей,
не ищи в этой угольной яме,
не нащупывай жизни моей!

Ибо годы прошли и столетья,
и за горе, за муку, за стыд,
поздно, поздно, никто не ответит,
и душа никому не простит.

Париж

1939 г.

Око

К одному исполинскому оку,
без лица, без чела и без век,
без телесного марева сбоку
наконец-то сведен человек.

И на землю без ужаса глянув
(совершенно не схожую с той,
что, вся пегая от океанов,
улыбалась одною щекой),

он не горы там видит, не волны,
не какой-нибудь яркий залив,
и не кинематограф безмолвный
облаков, виноградников, нив;

и, конечно, не угол столовой
и свинцовые лица родных —
ничего он не видит такого
в тишине обращений своих.

Дело в том, что исчезла граница
между вечностью и веществом,
и на что неземная зеница,
если вензеля нет ни на чем?

Париж

1939 г.

Слава

И вот, как на колесиках, вкатывается ко мне некто
восковой, поджарый, с копотью в красных ноздрях,
и сижу, и решить не могу: человек это
или просто так – разговорчивый прах.
Как проситель из наглых, гроза общежитий,
как зловещий друг детства, как старший шпион
(шепелявым таким шепотком: а скажите,
что вы делали там-то?), как сон,
как палач, как шпион, как друг детства зловещий,
как в балканской новелле влиянье, как их,
символистов, – но хуже. Есть вещи, вещи,
которые... даже... (Акакий Акакиевич
любил, если помните, «плевелы речи»,
и он, как Наречье, мой гость восковой),
и сердце просится, и сердце мечется,
и я не могу. А его разговор
так и катится острою осыпью под гору,
и картавое, кроткое слушать должно
и заслушиваться господина бодрого,
оттого что без слов и без славы оно.
Как пародия совести в драме бездарной,
как палач, и озноб, и последний рассвет –
о волна, поднимись, тишина благодарна
и за эту трехсложную музыку. Нет,

не могу языку заказать эти звуки,
ибо гость говорит, и так веско,
господа, и так весело, и на гадюке
то панама, то шлем, то фуражка, то феска:
иллюстрации разных существенных доводов,
головные уборы, как мысли вовне;
или, может быть, – было бы здорово,
если б этим шутник указывал мне,
что я страны менял, как фальшивые деньги,
торопясь и боясь оглянуться назад,
как раздваивающееся привиденье,
как свеча меж зеркал, уплывая в закат.
Далеко до лугов, где ребенком я плакал,
упустив аполлона, и дальше еще
до еловой аллеи с полосками мрака,
меж которыми полдень сквозил горячо.
Но воздушным мостом мое слово изогнуто
через мир, и чредой спицевидных теней
без конца по нему прохожу я инкогнито
в полыхающий сумрак отчизны моей.
Я божком себя вижу, волшебником с птичьей
головой, в изумрудных перчатках, в чулках
из лазурных чешуй. Прохожу. Перечтите
и остановитесь на этих строках[8].
Обращение к несуществующим: кстати,
он не мост, этот шорох, а цепь облаков,
и лишённые самой простой благодати

(доходенья до глаз, до локтей, до висков),
«твои бедные книги, – сказал он развязно, –
безнадёжно растут в изгнание. Увы,
эти триста листов беллетристики праздной
разлетятся – но у настоящей листвы
есть куда упадать, есть земля, есть Россия,
есть тропа, вся в лиловой кленовой крови,
есть порог, где слоятся тузы золотые,
есть канавы – а бедные книги твои,
без земли, без тропы, без канав, без порога,
опадут в пустоте, где ты вырастил ветвь,
как базарный факир, то есть не без подлога,
и недолго ей в дымчатом воздухе цвести.
Кто в осеннюю ночь, кто, скажи-ка на милость,
в захолустье русском, при лампе, в пальто,
среди гильз папиросных, каких-то опилок
и других озаренных неясностей, кто
на столе развернет образец твоей прозы,
зачитается ею под шум дождевой,
набегающий шум законной березы,
поднимающей книгу на уровень свой?
Нет, никто никогда на просторе великом
ни одной не помянет страницы твоей:
ныне дикий пребудет в неведение диком,
друг степей для тебя не забудет степей[9].
В длинном стихотворении „Слава“ писателя,
так сказать, занимает проблема, гнетет

мысль о контакте с сознанием читателя.

К сожаленью, и это навек пропадет.

Повторяй же за мной, дабы в сладостной язве
до конца, до небес доскрестись: никогда,
никогда не мелькнет мое имя – иль разве
(как в трагических тучах мелькает звезда)
в специальном труде, в примечанье к названью
эмигрантского кладбища и наравне
с именами собратьев по правописанью,
обстоятельством места навязанных мне.

Повторил? А случилось еще, ты пописывал
не без блеска на вовсе чужом языке,
и припомни особенный привкус анисовый [10]
тех потуг, те метанья в словесной тоске.
И виденье: на родине. Мастер. Надменность.
Непреклонность. Но тронуть не смеют. Порой
перевод иль отрывок. Поклонники. Ценность
европейская. Дача в Алуште. Герой».

И тогда я смеюсь, и внезапно с пера
мой любимый слетает анапест,
образуя ракеты в ночи, так быстра
золотая становится запись.

И я счастлив. Я счастлив, что совесть моя,
сонных мыслей и умыслов сводня,
не затронула самого тайного. Я
удивительно счастлив сегодня.

Эта тайна та-та, та-та-та-та, та-та,
а точнее сказать я не вправе.
Оттого так смешна мне пустая мечта
о читателе, теле и славе.
Я без тела разросся, без отзвука жив,
и со мной моя тайна всечасно.
Что мне тление книг, если даже разрыв
между мной и отчизною – частность.
Признаюсь, хорошо зашифрована ночь,
но под звезды я буквы подставил
и в себе прочитал, чем себя превозмочь,
а точнее сказать я не вправе.
Не доверяюсь соблазнам дороги большой
или снам, освященным веками,
остаюсь я безбожником с вольной душой
в этом мире, кишасщем богами.
Но однажды, пласты разуменья дробя,
углубляясь в свое ключевое,
я увидел, как в зеркале, мир и себя,
и другое, другое, другое.

Уэльслей, Масс.

1942 г.

«Вот это мы зовем луной...»

Вот это мы зовем луной.

Я на луне, и нет возврата.
Обнажена и ноздревата...
А, здравствуйте – и вы со мной.

Мы на луне. Луна, Селена.
Вы слышите? Эл, у, эн, а...
Я говорю: обнажена,
как после праздника арена.

Иль поле битвы: пронеслись
тут бегемоты боевые,
и бомбы бешено впились,
воронки вырыв тeneвые.

И если, мучась и мыча,
мы матовые маски снимем,
потухнет в этом прахе синем
и ваша, и моя свеча.

Наш лунный день не будет долог
среди камней и гор нагих.
Давайте ж, если вы геолог,
займемся изученьем их.

В ложбине мрак остроугольный
ползет по белизне рябой.
У нас есть шахматы с собой,

Шекспир и Пушкин. С нас довольно.

1942 г.

Парижская поэма

«Отведите, но только не бросьте.

Это – люди; им жалко Москвы.

Позаботьтесь об этом прохвосте:

он когда-то был ангел, как вы.

И подайте крыло Никанору,

Аврааму, Владимиру, Льву –

смерду, князю, предателю, вору:

ils furent des anges comme vous.

Всю ораву, ужасные выи

стариков у чужого огня,

господа, господа голубые,

пожалейте вы ради меня!

От кочующих, праздно плутающих[11]

уползаю и вот привстаю,

и уже я лечу, и на тающих

рифмы нет в моем новом раю.

Потому-то я вправе по чину

к вам, бряцая, в палаты войти.

Хорошо. Понимаю причину –
но их надо, их надо спасти.
Хоть бы вы призадумались, хоть бы
согласились взглянуть. А пока
остаюсь с привидением (подпись
неразборчива: ночь, облака)».

Так он думал без воли, без веса,
сам в себя, как наследник, летя[12].
Ночь дышала: вздувалась завеса,
облакам облаками платя.
Стул. На стуле он сам. На постели
снова – он. В бездне зеркала – он.
Он – в углу, он – в полу, он – у цели,
он в себе, он в себе, он спасен.

А теперь мы начнем. Жил в Париже,
в пятом доме по рю Пьер Лоти,
некто Вульф, худощавый и рыжий
инженер лет пятидесяти.
А под ним – мой герой: тот писатель,
о котором писал я не раз,
мой приятель, мой работодатель.

Посмотрев на часы и сквозь час
дно и камушки мельком увидя,
он оделся и вышел. У нас

это дно называлось: Овидий
откормлен (от Carmina). Муть
и комки в голове после черной
стихотворной работы. Чуть-чуть
моросит, и над улицей черной
без звездочки муругая муть.
Но поэмы не будет: нам некуда
с ним идти. По ночам он гулял.
Не любил он ходить к человеку,
а хорошего зверя не знал.

С этим камнем ночным породниться,
пить извозчичье это вино...
Трясогузками ходят блудницы,
и на русском Парнасе темно.
Вымирают косматые мамонты,
чуть жива красноглазая мышь.
Бродят отзвуки лиры безграмотной:
с кандачка переход на Буль-Миш.
С полурусского, полузабытого
переход на подобье арго.
Бродит боль позвонка перебитого
в черных дебрях Бульвар Араго[13].
Ведь последняя капля России
уже высохла. Будет, пойдём.
Но еще подписаться мы силится
кривоклювым почтаamtским пером.

Чуден ночью Париж сухопарый [14].

Чу! Под сводами черных аркад,
где стена, как скала, писсуары
за щитами своими журчат.

Есть судьба и альпийское нечто
в этом плеске пустынном. Вот-вот
захлебнется меж четом и нечетом,
между мной и не мной, счетовод.

А мосты – это счастье навеки,
счастье черной воды. Посмотри:
как стекло несравненной аптеки
и оранжевые фонари.

А вверху – там неважные вещи.

Без конца. Без конца. Только муть.

Мертвый в омуте месяц мерещится.

Неужели я тоже? Забудь.

Смерть еще далека (послезавтра я
все продумаю), но иногда
сердцу хочется «автора, автора».

В зале автора нет, господа.

И покуда глядел он на месяц,
синеватый, как кровоподтек,
раздался где-то в дальнем предместье
паровозный щемящий свисток.

Лист бумаги, громадный и чистый,
стал вытаскивать он из себя:

лист был больше него и неистовствовал,
завиваясь в трубу и скрипя.

И борьба показалась запутанной,
безысходной: я, черная мгла,
я, огни и вот эта минута –
и вот эта минута прошла.

Но, как знать, может быть, бесконечно
драгоценна она, и потом
пожалю, что бесчеловечно
обошелся я с этим листом.

Что-нибудь мне, быть может, напели
эти камни и дальний свисток.

И, пошарив по темной панели,
он нашел свой измятый листок.

В этой жизни, богатой узорами
(неповторной, поскольку она
по-другому, с другими актерами,
будет в новом театре дана),
я почел бы за лучшее счастье
так сложить ее дивный ковер,
чтоб пришелся узор настоящего
на былое, на прежний узор;
чтоб опять очутиться мне – о, не
в общем месте хотений таких,
не на карте России, не в лоне
ностальгических неразберих, –
но, с далеким найдя соответствие,

очутиться в начале пути,
наклониться – и в собственном детстве
кончик спутанной нити найти.
И распутать себя осторожно,
как подарок, как чудо, и стать
серединою многодорожного
громогласного мира опять.
И по яркому гомону птичьему,
по ликующим липам в окне,
по их зелени преувеличенной
и по солнцу на мне и во мне,
и по белым гигантам в лазури,
что стремятся ко мне напрямик,
по сверканью, по мощи прищуриться
и узнать свой сегодняшний миг.

Кембридж, Масс.

1943 г.

Каким бы полотном

Каким бы полотном батальным ни являлась
советская сусальнейшая Русь,
какой бы жалостью душа ни наполнялась,
не поклонюсь, не примирюсь

со всею мерзостью, жестокостью и скукой

немного рабства – нет, о нет,
еще я духом жив, еще не сыт разлукой,
увольте, я еще поэт.

Кембридж, Масс. 1944 г.

О правителях

Вы будете (как иногда
говорится)
смеяться, вы будете (как ясновидцы
говорят) хохотать, господа, –
но, честное слово,
у меня есть приятель,
которого
привела бы в волнение мысль поздороваться
с главою правительства или другого какого
предприятия.

С каких это пор, желал бы я знать,
под ложечкой
мы стали испытывать вроде
нежного бульканья, глядя в бинокль
на плотного с ежиком в ложе? [15]

С каких это пор
понятие власти стало равно
ключевому понятию родины?
Какие-то римляне и мясники,

Карл Красивый и Карл Безобразный,
совершенно гнилые князьки,
толстогрудые немки и разные
людоеды, любовники, ломовики,
Иоанны, Людовики, Ленины,
все это сидело, кряхтя на эх и на ых,
упираясь локтями в колени
на престолах своих матерых.

Умирает со скуки историк:
за Мамаем все тот же Мамай.

В самом деле, нельзя же нам с горя
поступить, как чиновный Китай,
кучу лишних веков присчитавший
к истории скромной своей,
от этого, впрочем, не ставшей
ни лучше, ни веселей[16].

Кучера государств зато хороши
при исполнении должности: шибко
ледяная навстречу летит синева,
огневые трещат на ветру рукава...
Наблюдатель глядит иностранный
и спереди видит прекрасные очи навывкат,
а сзади прекрасную помесь диванной
подушки с чудовищной тыквой.

Но детина в регалиях или
волк в макинтоше,
в фуражке с немецким крутым козырьком,

охрипший и весь перекошенный,
в остановившемся автомобиле [17] –
или опять же банкет
с кавказским вином –
нет [18].

Покойный мой тезка [19],
писавший стихи и в полоску,
и в клетку, на самом восходе
всесоюзно–мещанского класса,
кабы дожил до полдня,
нынче бы рифмы натягивал
на «монументален»,
на «переперчил» [20]
и так далее.

Кембридж, Масс. 1944 г.

К кн. С. М. Качурину

1

Качурин [21], твой совет я принял
и вот уж третий день живу
в музейной обстановке, в синей
гостиной с видом на Неву.

Священником американским
твой бедный друг переодет,

и всем долинам дагестанским[22]

я шлю завистливый привет.

От холода, от перебоев

в подложном паспорте не сплю:

исследователям обоев

лилеи и лианы шлю.

Но спит, на канаве устроясь,

коленки приложив к стене

и завернувшись в плед по пояс,

толмач, приставленный ко мне.

2

Когда я в это воскресенье,

по истечении почти

тридцатилетнего затмения,

мог встать и до окна дойти;

когда увидел я в тумане

весны, и молодого дня,

и заглушенных очертаний

то, что хранилось у меня

так долго, вроде слишком яркой

цветной открытки без угла

(отрезанного ради марки,
которая в углу была);

когда все это появилось
так близко от моей души,
она, вздохнув, остановилась,
как поезд в полевой тиши.

И за город мне захотелось:
в истоме юности опять
мечтательно заныло тело,
и начал я соображать,

как буду я сидеть в вагоне,
как я его уговорю,
но тут зачмокал он спросонья
и потянулся к словарю.

З

На этом я не успокоюсь,
тут объясненье жизни всей,
остановившейся, как поезд
в шершавой тишине полей.

Воображаю щебетанье
в шестидесяти девяти

верстах от города, от зданья,
где запинаясь взаперти,

и станцию, и дождь наклонный,
на темном видный, и потом
захлест сирени станционной,
уж огрубевшей под дождем,

и дальше: фартук тарантасный
в дрожащих ручейках, и все
подробности берез, и красный
амбар налево от шоссе.

Да, все подробности, Качурин,
все бедненькие, каковы
край сизой тучи, ромб лазури
и крап ствола сквозь рябь листвы.

Но как я сяду в поезд дачный
в таком пальто, в таких очках
(и, в сущности, совсем прозрачный,
с романом Сирина в руках)?

4

Мне страшно. Ни столбом ростральным,
ни ступенями при луне,

ведущими к огням спиральным,
ко ртутной и тугой волне,

не заслоняется... при встрече
я, впрочем, все скажу тебе
о новом, о широкоплечем
провинциале и рабе.

Мне хочется домой. Довольно.
Качурин, можно мне домой?
В пампасы молодости вольной,
в техасы, найденные мной.

Я спрашиваю, не пора ли
вернуться к теме тетивы,
к чарующему чапаралю
из «Всадника без головы»,

чтоб в Матагордовом Ущелье
заснуть на огненных камнях
с лицом, сухим от акварели,
с пером вороньим в волосах?

Кембридж, Масс.

1947 г.

Neuralgia Intercostalis

О нет, то не ребра –
эта боль, этот ад, –
это русские струны
в старой лире болят.

(Во время болезни)

Март – апрель 1950 г.

Был день как день

Был день как день. Дремала память. Длилась
холодная и скучная весна.

Внезапно тень на дне зашевелилась –
и поднялась с рыданием со дна.

О чем рыдать? Утешить не умею.
Но как затопала, как затряслась,
как горячо цепляется за шею,
в ужасном мраке на руки просясь.

Итака

1951 г.

Неправильные ямбы[23]

В последний раз лиясь листьями

между воздушными перстами
и проходя перед грозой
от зелени уже настойчивой

до серебристости простой,
олива бедная, листва
искусства, плещет, и слова
лелеять бы уже не стоило,

если б не зоркие глаза
и одобрение бродяги,
если б не лилия в овраге,
если б не близкая гроза.

Итака

1953 г.

1. «Как над стихами силы средней...»

Как над стихами силы средней
эпиграф из Шенье,
как луч последний, как последний
зефир... comme un dernier...

Так ныне над простором голым
моих минувших лет
каким-то райским ореолом

горит нерусский свет!

1956 г.

2. «Целиком в мастерскую высокую...»

Целиком в мастерскую высокую
входит солнечный вечер ко мне:
он как нотные знаки, он фокусник,
он сирень на моем полотне.

Ничего из работы не вышло,
только пальцы в пастельной пыли.
Смотрят с неба художники бывшие
на румяную щеку земли.

Я ж смотрю, как в стеклянной обители
зажигается сто этажей
и как американские жители
там стойком поднимаются в ней.

3. «Все, от чего оно сжимается...»

Все, от чего оно сжимается,
миры в тумане, сны, тоска
и то, что мною принимается

как должное, – твоя рука;

все это под одною крышею
в плену моем живет, поет,
но сводится к четверостишию,
как только ямб ко дну идет.

И оттого, что – как мне помнится –
жильцы родного словаря
такие бедняки и скромницы:
холм, папоротник, ель, заря,

читателя мне не разжалобить,
а с музыкой я незнаком,
и удовлетворяюсь, стало быть,
ничьей меж смыслом и смычком.

– – – –

«Но вместо всех изобразительных
приемов и причуд, нельзя ль
одной опушкой существительных
и воздух передать, и даль?»»

Я бы добавил это новое,
но наподобие кольца
сомкнуло строй уже готовое
и не впустило пришлеца.

4. «Вечер дымчат и долог...»

Вечер дымчат и долог:

я с мольбою стою,
молодой энтомолог,
перед жимолостью.

О, как хочется, чтобы
там, в цветах, вдруг возник,
запуская в них хобот,
райский сумеречник.

Содроганье – и вот он.

Я по ангелу бью,
и уж демон замотан
в сетку дымчатую.

5. «Какое б счастье или горе...»

Какое б счастье или горе
ни пело в прежние года,
метафор, даже аллегорий
я не чуждался никогда.

И ныне замечаю с грустью,
что солнце меркнет в камышах,
и рябь чешуйчатее к устью,
и шум морской уже в ушах.

Итака 1950-е гг.

6. Сон

Есть сон. Он повторяется, как томный
стук замурованного. В этом сне
киркой работаю в дыре огромной
и нахожу обломок в глубине.

И фонарем на нем я освещаю
след надписи и наготу червя.
«Читай, читай!» – кричит мне кровь моя:
P, O, C, – нет, я букв не различаю.

7. «Зимы ли серые смыли...»

Зимы ли серые смыли
очерк единственный? Эхо ли
все, что осталось от голоса? Мы ли
поздно приехали?

Только никто не встречает нас. В доме
рояль – как могила на полюсе. Вот тебе
ласточки. Верь тут, что, кроме
пепла, есть оттепель.

Какое сделал я дурное дело

Какое сделал я дурное дело,
и я ли развратитель и злодей,
я, заставляющий мечтать мир целый
о бедной девочке моей [24].

О, знаю я, меня боятся люди,
и жгут таких, как я, за волшебство,
и, как от яда в полем изумруде,
мрут от искусства моего.

Но как забавно, что в конце абзаца,
корректору и веку вопреки,
тень русской ветки будет колебаться
на мраморе моей руки.

Сан-Ремо

1959 г.

«Средь этих лиственниц и сосен...»

Средь этих лиственниц и сосен,
под горностаем этих гор
мне был бы менее несносен
существования позор:

однообразнее, быть может,
но, без сомнения, честней
здесь бедный век мой был бы прожит
вдали от вечности моей.

Санкт-Мориц

10 июля 1965 г.

«Сорок три или четыре года...»

Сорок три или четыре года
ты уже не вспоминалась мне:
вдруг, без повода, без перехода,
посетила ты меня во сне.

Мне, которому претит сегодня
каждая подробность жизни той,
самовольно вкрадчивая сводня
встречу приготовила с тобой.

Но хотя, опять возясь с гитарой,

ты опять «молодушкой была»,
не терзать взялась ты мукой старой,
а лишь рассказать, что умерла.

9 апреля 1967 г.

С серого севера

С серого севера
вот пришли эти снимки.

Жизнь успела не все
погасить недоимки.
Знакомое дерево
вырастает из дымки.

Вот на Лугу шоссе.
Дом с колоннами. Оредежь.
Отовсюду почти
мне к себе до сих пор еще
удалось бы пройти.

Так, бывало, купальщикам
на приморском песке
приносится мальчиком
кое-что в кулачке.

Все, от камушка этого
с каймой фиолетовой
до стеклышка матово –
зеленоватого,
он приносит торжественно.

Вот это Батово.

Вот это Рожественно.

Монтрё

1967 г.

Пастернак

Его обороты, эпитеты, дикция,
стереоскопичность его –
все в нем выдает со стихом Бенедиктова
свое роковое родство.

22 августа 1970 г.

«Как любил я стихи Гумилева!..»

Как любил я стихи Гумилева!

Перечитывать их не могу,
но следы, например, вот такого
перебора остались в мозгу:

«...И умру я не в летней беседке
от обжорства и от жары,
а с небесной бабочкой в сетке
на вершине дикой горы».

Курелия (Лугано)

22 июля 1972 г.

«В ничтожнейшем гиппопотаме...»

В ничтожнейшем гиппопотаме
как много есть нежности тайной!
Как трудно расстаться с цветами,
увядшими в вазе случайной!

Монтрё

29 мая 1973 г.

«Ах, угонят их в степь, Арлекинов моих...»

To Vega

Ах, угонят их в степь, Арлекинов моих,
в буераки, к чужим атаманам!
Геометрию их, Венецию их
назовут шутовством и обманом.

Только ты, только ты все дивилась вослед
черным, синим, оранжевым ромбам..
«N писатель недюжинный, сноб и атлет,
наделенный огромным апломбом...»

Монтрё

1 октября 1974 г.

Стихи из рассказов и романов

«Когда, слезами обливаясь...»

Когда, слезами обливаясь,
ее лобзая вновь и вновь,
шептал я, с милой расставаясь:
прощай, прощай, моя любовь,
прощай, прощай, моя отрада,
моя тоска, моя мечта,
мы по тропам заглошим сада
уж не пройдемся никогда...

(Подражание романсу. Из рассказа «Адмиралтейская игла» в сборнике
«„Весна в Фиальте“ и другие рассказы»)

Берлин 1933 г.

«Распротяться с пустой тревогой...»

Распротяться с пустой тревогой,
палку толстую возьми
и шагай большой дорогой
вместе с добрыми людьми.

По холмам страны родимой
вместе с добрыми людьми,
без тревоги нелюдимой,
без сомнений, черт возьми.
Километр за километром,
ми-ре-до и до-ре-ми,
вместе с солнцем, вместе с ветром,
вместе с добрыми людьми.

(Из рассказа «Облако, озеро, башня»)

Берлин 1937 г.

«Хорошо-с, – а помните, граждане...»

Хорошо-с, – а помните, граждане,
как хирел наш край без отца?
Так без хмеля сильнейшая жажда
не создаст ни пивца, ни певца.

Вообразите, ни реп нет,

ни баклажанов, ни брюкв...

Так и песня, что днесь у нас крепнет,
задыhalась в луковках букв.

Шли мы тропинкой исторенной,
горькие ели грибы,
пока ворота истории
не дрогнули от колотьбы,

пока, белизною кительной
сияя верным сынам,
с улыбкой своей удивительной
Правитель не вышел к нам!

(Из рассказа «Истребление тиранов»)

Париж 1938 г.

<Из сборника Федора Годунова–Чердынцева «Стихи»>

1

Мяч закатился мой под нянин
комод, и на полу свеча
тень за концы берет и тянет
туда, сюда – но нет мяча.

Потом там кочерга кривая
гуляет и грохочет зря

и пуговицу выбивает,
а погода – полсухаря.
Но вот выскакивает сам он
в трепещущую темноту,
через всю комнату и прямо
под неприступную тахту.

2

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

и по углам наглеют ночью,
своим законным образцам
лишь подражая между прочим.

3

.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

при музыке миниатюрной
с произношением смешным.

4

.
.
.
.
.

И снова заряжаешь ствол
до дна, со скрежетом пружинным
в упругий вдавливая пол,
и видишь, притаясь за дверью,
как в зеркале стоит другой –
и дыбом радужные перья
из-за повязки головной.

5

.
.
.
.
.
.
.
.
.

под лестницею винтовой
и за буфетом одиноким,
забытым в комнате пустой.

6

По четвергам старик приходит
учтивый, от часовщика,
и в доме все часы заводит
неторопливая рука.
Он на свои украдкой взглянет
и переставит у стенных.
На стуле стоя, ждать он станет,
чтоб вышел полностью из них
весь полдень. И благополучно
окончив свой приятный труд,
на место ставит стул беззвучно,
и, чуть ворча, часы идут.

7

.
.
.
.

Пожалуйста вставать. Гуляет
по зеркалам печным ладонь
истопника: определяет,
дорос ли доверху огонь.
Дорос. И жаркому гуденью
день отвечает тишиной,
лазурью с розовой тенью
и совершенной белизной.

8

Как буду в этой же карете
через полчаса опять сидеть?
Как буду на снежинки эти
и ветви черные глядеть?
Как тумбу эту в шапке ватной
глазами провожу опять?
Как буду на пути обратном
мой путь туда припоминать?
(Нащупывая поминутно

с брезгливой нежностью платок,
в который бережно закутан
как будто костяной брелок.)

9

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

так впечатление былое
во льду гармонии живет...

10

Влезть на помост, облитый блеском,
упасть с размаху животом
на санки плоские – и с треском
по голубому... А потом,
когда меняется картина
и в детской сумрачно горит

рождественская скарлатина
или пасхальный дифтерит,
съезжать по блещущему ломко,
преувеличенному льду,
в полутропическом каком-то,
полутаврическом саду...

11

.
.
.
.

Бювар с бумагой почтовой
всего мне видится ясней;
она украшена подковой
и монограммой моей.
Уж знал я толк в инициалах,
печатках, сплющенных цветках
от девочки из Ниццы, алых
и бронзоватых сургучах.

12

В канавы скрылся снег со склонов,
и петербургская весна
волнения, и анемонов,

и первых бабочек полна.
Но мне не надо прошлогодних,
увядших за зиму ванесс,
лимонниц, никуда не годных,
летающих сквозь прозрачный лес.
Зато уж высмотрю четыре
прелестных газовых крыла
нежнейшей пяденицы в мире
среди пятен белого ствола.

13

.
.
.
.
.
.
.
.

Ни шапки надевать не надо,
ни легких башмаков менять,
чтоб на песок кирпичный сада
весною выбежать опять.

14

О, первого велосипеда
великолепье, вышина;
на раме «Дукс» или «Победа»;
надутый шины тишина.
Дрожанье и вилы в аллее,
где блики по рукам скользят,
где насыпи кротов чернеют
и низвержением грозят.
А завтра пролетаешь через,
и, как во сне, поддержки нет,
и, этой простоте доверяясь,
не падает велосипед.

15

.
.
.
.
.
.
.
.
.

синеет, синего синей,
почти не уступая в сини
воспоминанию о ней...

16

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. от валуна

посередине от опушки
еще как днем освещена.

17

Фарфоровые соты синий,
зеленый, красный мед хранят.
Сперва из карандашных линий
слагается шершаво сад.
Березы, флигельный балкончик –
все в пятнах солнца. Обмакну
и заверну погуще кончик
в оранжевую желтизну.
Меж тем в наполненном бокале,

в лучах граненого стекла –
какие краски засверкали,
какая радость зацвела!

18

Одни картины да киоты
в тот год остались на местах,
когда мы выросли, и что-то
случилось с домом: второпях
все комнаты между собою
менялись мебелью своей,
шкапами, ширмами, толпою
неповоротливых вещей.
И вот тогда-то, под тахтою,
на обнажившемся полу,
живой, невероятно милый,
он обнаружился в углу.

(Из романа «Дар»)

«Благодарю тебя, отчизна...»

Благодарю тебя, отчизна,
за злую даль благодарю!
Тобою полн, тобой не признан,
я сам с собою говорю.

И в разговоре каждой ночи
сама душа не разберет,
мое ль безумие бормочет,
твоя ли музыка растет...

(Из романа «Дар»)

«Во тьме в незамерзающую воду...»

Во тьме в незамерзающую воду,
сквозь тихо падающий снег,
в обычную летейскую погоду
вот этим я ступлю на брег.
И к пристающему парому
сук тянется, и медленным багром
паромщик тянется к суку сырому,
и медленно вращается паром.

(Из романа «Дар»)

«Здесь все так плоско, так непрочно...»

Здесь все так плоско, так непрочно,
так плохо сделана луна,
хотя из Гамбурга нарочно
она сюда привезена...

(Из романа «Дар»)

Ласточка

Однажды мы под вечер оба
стояли на старом мосту.
Скажи мне, спросил я, до гроба
запомнишь вон ласточку ту?
И ты отвечала: еще бы!
И как мы заплакали оба,
как вскрикнула жизнь налету...
До завтра, навеки, до гроба –
однажды, на старом мосту...

(Из романа «Дар»)

«О нет, мне жизнь не надоела...»

О нет, мне жизнь не надоела,
Я жить хочу, я жить люблю,
Душа не вовсе охладела,
Утратя молодость свою.

Еще судьба меня согреет,
Романом гения упьюсь,
Мицкевич пусть еще созреет,
Кой-чем я сам еще займусь.

(Из романа «Дар»)

«Задумчиво и безнадежно...»

...Монументальное исследование Андрея Белого о ритмах загипнотизировало меня своей системой наглядного отчисления и подсчитывания полуударений... и с той поры, в продолжение почти года – скверного, грешного года, – я старался писать так, чтобы получилась как можно более сложная и богатая схема:

Задумчиво и безнадежно

распространяет аромат

и неосуществимо нежно

уж полуувядает сад...

(Из романа «Дар»)

«В полдень послышался клюнувший ключ...»

В полдень послышался клюнувший ключ

и характерно

трахнул замок: это с рынка домой Марианна

пришла Николавна;

шаг ее тяжкий под тошный шумок макинтоша отнес

мимо двери на кухню пудовую сетку

с продуктами.

Муза Российския прозы, простись навсегда

с капустным

гекзамером автора «Москвы».

(Из романа «Дар»)

«Люби лишь то, что редкостно и мнимо...»

Люби лишь то, что редкостно и мнимо,
что крадется окраинами сна,
что злит глупцов, что смердами казнимо;
как родине, будь вымыслу верна.

Наш час настал. Собаки и калеки
одни не спят. Ночь летняя легка.

Автомобиль, проехавший навеки,
последнего увез ростовщика.

Близ фонаря, с оттенком маскарада,
лист жилками зелеными сквозит.

У тех ворот – кривая тень Багдада,
а та звезда над Пулковом висит.

Как звать тебя? Ты полу-Мнемозина,
полумерцанье в имени твоём,
и странно мне по сумраку Берлина
с полувиденьем странствовать вдвоем.

Но вот скамья под липой освещенной...

Ты оживаешь в судорогах слез:
я вижу взор, сей жизнью изумленный,
и бледное сияние волос.

Есть у меня сравненье на примете

для губ твоих, когда целуешь ты:
нагорный снег, мерцающий в Тибете,
горячий ключ и в иное цветы.
Ночные наши бедные владенья,
забор, фонарь, асфальтовую гладь
поставим на туза воображенья,
чтоб целый мир у ночи отыграть.
Не облака, а горные отроги;
костер в лесу, не лампа у окна.
О, поклянись, что до конца дороги
ты будешь только вымыслу верна...

Под липовым цветением мигает
фонарь. Темно, душисто, тихо. Тень
прохожего по тумбе пробегает,
как соболев пробегает через пень.
За пустырем, как персик, небо тает:
вода в огнях, Венеция сквозит, –
а улица кончается в Китае,
а та звезда над Волгою висит.
О, поклянись, что веришь в небылицу,
что будешь только вымыслу верна,
что не запрешь души своей в темницу,
не скажешь, руку протянув: стена.

(Из романа «Дар»)

«Виноград созревал, изваянья в аллеях синели...»

Виноград созревал, изваянья в аллеях синели.

Небеса опирались на снежные плечи отчизны...

(Из романа «Дар»)

«Из темноты, для глаз всегда нежданно...»

Из темноты, для глаз всегда нежданно,

она, как тень, внезапно появлялась,

от родственной стихии отделясь.

Сначала освещались только ноги,

так ставимые тесно, что казалось:

она идет по тонкому канату.

Она была в коротком летнем платье

ночного цвета – цвета фонарей,

темней стволов, лоснящейся панели,

бледнее рук ее, темней лица.

(Из романа «Дар»)

«Ума большого...»

«Философия» Чернышевского поднимается через Фейербаха к энциклопедистам. С другой же стороны, прикладное гегелианство, постепенно левея, шло через того же Фейербаха к Марксу, который в своем «Святом семействе» выражается так:

. ума большого
не надобно, чтобы заметить связь
между ученьем материализма
о прирожденной склонности к добру,
о равенстве способностей людских,
способностей, которые обычно
зовутся умственными, о влиянье
на человека обстоятельств внешних,
о всемогущем опыте, о власти
привычки, воспитания, о высоком
значении промышленности всей,
о праве нравственном на наслажденье —
и коммунизмом.

Перевожу стихами, чтобы не было так скучно.

(Из романа «Дар»)

«Что скажет о тебе далекий правнук твой...»

Что скажет о тебе далекий правнук твой,
то славя прошлое, то запросто ругая?
Что жизнь твоя была ужасна? Что другая
могла бы счастьем быть? Что ты не ждал другой?

Что подвиг твой не зря свершался — труд сухой
в поэзию добра попутно обращая

и белое чело кандальника венчая
одной воздушною и замкнутой чертой?

Увы! Что б ни сказал потомок просвещенный,
все так же на ветру, в одежде оживленной,
к своим же Истина склоняется перстам,
с улыбкой женскою и детскою заботой,
как будто в пригоршне рассматривая что-то,
из-за плеча ее невидимое нам.

(Из романа «Дар»)

«Прощай же, книга! Для видений...»

Прощай же, книга! Для видений
отсрочки смертной тоже нет.
С колен поднимется Евгений,
но удаляется поэт.
И все же слух не может сразу
расстаться с музыкой, рассказу
дать замереть... судьба сама
еще звенит, и для ума
внимательного нет границы
там, где поставил точку я:
продленный призрак бытия
синеет за чертой страницы,
как завтрашние облака,

и не кончается строка.

(Из романа «Дар»)

Влюбленность

Мы забываем, что влюбленность
не просто поворот лица,
а под купавами бездонность,
ночная паника пловца.

Покуда снится, снись, влюбленность,
но пробуждением не мучь,
и лучше недоговоренность,
чем эта щель и этот луч.

Напоминаю, что влюбленность
не явь, что метины не те,
что, может быть, потусторонность
приотворилась в темноте.

(Стихотворение Вадима из романа «Look at the Harlequins!»)

1973 г.

Ничья меж смыслом и смычком

Знаменитый прозаик Владимир Набоков–Сирин (1899–1977) всю жизнь осознавал себя поэтом, хотя в этом качестве был гораздо менее известен и признан. Он начал в юности со стихов и писал их всю жизнь, со временем все меньше и все лучше, периодически объединяя в сборники, от первого, «Стихи» 1916 года, до последнего, «Стихи» 1979 года. В книге 1979 года, отбор для которой писатель успел сделать сам, однако вышла она уже после его смерти, пропорционально представлены все этапы его русской поэтической эволюции (за исключением первого юношеского сборника 1916 года), которые можно разделить на годы европейской эмиграции, или «сиринский» период, продолжавшийся до конца тридцатых, – в это время написана основная масса его стихотворных текстов, современниками оцененных невысоко; и собственно набоковский, отмеченный «запоздалым открытием твердого стиля» и «уменьшением продукции» [25].

Суть того удивления, которое испытывает любитель прозы Набокова, обратившись к его стихам, замечательно точно описал М. Ю. Лотман:

«...читатель стихов Набокова (заметим, что читатель в России знакомится с творчеством Набокова в порядке как бы обратном хронологическому: от „Лолиты“ к стихам) сталкивается с некоторыми, едва ли не шокирующими, неожиданностями.

Во-первых, это темы, которые мы встречаем только в набоковской поэзии: читая его стихи, мы с удивлением замечаем, например, какое значительное место занимает в них религиозная тематика. В прозе Набоков этой темы не только не касается, но и, кажется, тщательно ее избегает. Другая неожиданность, едва ли не еще более шокирующая, – уже не тематическая, а стилистическая: набоковская поэтическая вещь прямолинейна, даже простовата. <...> [в прозе] Набоков чуждается всяких штампов, старательно избегает даже малейших намеков на клишированность. <...> В поэзии Набокова мы встречаем очень многие поэтические клише и типичные конструкции и формулы, заимствованные не только из поэзии начала века, но и более ранних периодов. В частности, неожиданна сама поза автора – неоднократно подчеркивается: я поэт. В прозе Набокова такое невозможно. <...>

Второе. Темы, знакомые нам по прозе, встречаются и в поэзии Набокова, но решаются они в принципиально ином стилистическом ключе. Это в первую очередь тема ностальгии. В прозе она решается исключительно тонко, я бы сказал, снобистски; в поэзии она (за весьма немногочисленными исключениями, связанными с „прозаическим“ белым стихом) преподносится самым прямолинейным образом, со всеми относящимися сюда штампами, включая тоску по березкам» [26].

Попробуем сначала проследить основания и эволюцию поэтической программы Сирина, а потом перейдем к поздним, набоковским, стихам, глубоко связанным с его прозой.

Первоначальное формирование Набокова как поэта происходило вне силового поля актуальной литературной среды, в мире не поэтов, а книг, причем отнюдь не новейших. Россию он покинул восемнадцатилетним юношей, не успев – не столько по возрасту, сколько, вероятно, из-за семейной принадлежности к элитарному и культурно консервативному социальному кругу, сочетавшему огромное богатство с не меньшим государственным и политическим весом, – познакомиться с новейшей поэзией и поэтами (два первых сборника Набокова, вышедшие еще в России на средства юного автора, «Стихи» (1916) и «Два пути» (1918, совм. с соучеником по Тенишевскому училищу Андреем Балашовым), ни в чем не выходят за пределы аристократического дилетантизма). Круг его литературных пристрастий не заходил дальше мод 1890–1900-х годов (от Фета, А. Майкова, Ап. Григорьева до раннего Блока).

Первоначальный период формирования Набокова как поэта, вплоть до появления первого романа «Машенька» (1925), в целом демонстрирует довольно прямолинейную зависимость позиции и поэтики от внешних биографических обстоятельств и влияний. Полтора года Набоков вместе с семьей провел в Крыму, куда они были вынуждены бежать из революционного Петрограда в ноябре 1917-го и откуда эвакуировались под звуки канонады наступающих красных весной 1919 года. Эти призрачные и привольные месяцы, которые семья провела в имении графини Паниной в Гаспре (отец Набокова Владимир Дмитриевич, видный юрист, публицист, член кадетской партии, занимал пост министра юстиции в эфемерном Крымском Временном правительстве), дали молодому поэту впервые ощутить «горечь и вдохновение изгнания», стилизованные «пушкинскими ориенталиями» [27]. Живший в Крыму поэт Максимилиан Волошин, знакомый В. Д. Набокова по Литературному фонду, во время нескольких встреч с Набоковым-младшим, сообразуясь, вероятно, с интересами юноши, рассказал ему о стиховедческой теории Андрея Белого – и невольно на всю жизнь определил стиховедческие представления Набокова. Другие крымские беседы, с музыкантом и мистиком Владимиром Ивановичем Полем, частым гостем в имении графини Паниной, познакомили Набокова с христианской мистикой, которую он воспринял орнаментально и написал множество отнюдь не религиозных стихотворений, использующих живописность «византийской образности».

В Кембриджском университете, где Набоков оказался после Крыма, он, будучи «яростно несчастен», как сказал своему биографу Эндрю Филду, страдая от классической формы ностальгии по утраченной родине и утраченной возлюбленной (и одновременно предаваясь вполне буршевским проказам и позволяя себе не тратить времени на учебу, выбрав самый легкий для себя бакалавриат по французской и русской литературе), еще острее почувствовал себя русским поэтом, одиноким изгнанником. При этом, в отличие от сверстников, эмигрантов среднего и молодого поколения, он имел возможность регулярно помещать свои вполне еще незрелые ностальгические вирши в берлинской общественно-политической газете «Руль», редактировавшейся его отцом (совместно с И. В. Гессеном) и даже выпустить (под псевдонимом Сирин, несколько безвкусным и отсылавшим к давней уже эпохе рубежа веков с ее псевдославянскими стилизациями) два поэтических сборника, «Горний путь» и «Гроздь», публикация которых также была устроена друзьями отца, Сашей Черным (А. М. Гликбергом) и И. В. Гессеном [28].

Молодой Сирин, охваченный ностальгией и вдохновением, в январе 1923 года, например (судя по датам сочинения стихов, проставленным в сборнике 1979 года), пишет минимум по стихотворению в день. Он ощущает себя поэтом. «По временам у меня лопатки чешутся, – сообщает он родителям из Кембриджа, – чувствую, что растут крылья. Тренируюсь, дабы „тленья убежать“» [29], снова и снова формулирует свое art poétique и апострофирует Музу: «О муза, научи... дай мне слова, дай мне слова, певучесть». В архиве Набокова сохранилось неопубликованное стихотворение «Музе», где этот призыв представлен в подробностях:

...о, муза, грустно мне!

Гул пушкинской струны, осмысленно–великий,
не вызвал отзвука достойного, и вот
плоды словесного бесстыдства: бред заики,
ночная балмочь, блуд, лубочный хоровод
да странного ума лукавая забава...
Нет, – пламя тайное включая в стих скупой,
сознательно твори, упорствуй, но не пой,
когда душа молчит. Будь в малом величава:
всё благо на земле, всё – пыль, всё – Божество...
О да, ты сыздетства постигла волшебство
земного! Ты огня живее и румяней:
смеешься и грустишь; глаза твои горят
и вновь туманятся; – но, иногда, я рад,
что холод есть в тебе высоких изваяний –
богинь, блистательно застывших на лету...
Не медли в небесах, о муза! Вот вплету
листок березовый – душистый, ощутимый –
в твой облачный венок: да будешь ты всегда
проста, отзывчива... Век темен – не беда!
Пусть гости–горести вошли, неотвратимы,

в обитель юности пирующей моей, –
их безобычных не слушаю речей...
Пусть, омраченное, ослепшее на время,
мое великое, таинственное племя
бушует и в бреду безумное творит –
о вечно–вешняя! – по–прежнему горит
твой неотлучный луч; я знаю, что чудесно
печаль ты выразишь (певучая печаль
для чутких сладостней отрады бессловесной).
Я знаю – звездную внимающую даль
столетий ты пройдешь, воздушная, а ныне,
подруга, жизнь моя, – в долине, на вершине –
езде–езде хочу я чувствовать тебя.
Дай мне духовный жар, дай мне резец холодный;
Восстань! Пора, пора! Свершай свой путь свободный,
благословляя всё, о муза, всё любя...[30]

Эта искренняя юношеская взволнованность, поэтический жар и трепет очень обаятельны (особенно для тех, кто знает Набокова–прозаика, литературного «сноба и атлета», – впрочем, надо заметить, что в начале двадцатых Набоков уже не юноша), пусть высказываются они пока довольно банально. Однако поэтическая провинциальность молодого Сирина все же поражает – достаточно вспомнить, что в это же время, в 1922 году, в Берлине вышел сборник О. Мандельштама «Tristia», а в московском издательстве З. И. Гржебина – «Сестра моя – жизнь» Б. Пастернака. Вероятно, Набоков, увлеченный в Кембридже английской георгианской поэзией и, прежде всего, своими стихами, новейших поэтических книг толком не читал, что соответствовало долго определявшему его габитус положению «наследника» – как наследника своего отца, имевшего возможность, не включаясь в литературно–издательский быт, выпускать свои сборники, так и «наследника» классической русской литературы, хранящего в изгнании ее «дары». Сверстники Набокова, молодой критик и впоследствии внимательный мемуарист Александр Бахрах и поэтесса Вера Лурье, ученица Гумилева, участница «Звучащей раковины», с сожалением и недоумением отметили в

стихах Сирина это сочетание поэтической одаренности и культуры с тотальной архаичностью поэтических приемов и образов: «Все его эпитеты взяты от раннего символизма... Перечитываешь „Гроздь“ и тут же забудешь... остается лишь привкус слащавости и оперности. А жалко... в Сирине есть, несомненно, поэтическое дарование, поэтическая культура, техника»[31]; «У Сирина есть все данные, чтобы быть поэтом: у него вполне поэтические восприятия, стихи его музыкальны и органичны, и, несмотря на сказанное, за исключением нескольких действительно хороших стихов, сборник „Горний путь“ скучная книга. Происходит это не от недостатка дарования автора, но нельзя проходить мимо всех современных творческих достижений и завоеваний, отказаться от всех течений и школ и употреблять образы, которые давно обесцветились...»[32].

Действительно, все стихотворения «Грозди» и «Горнего пути»[33], как и три десятка стихотворений этого периода (до «Машеньки»), впервые опубликованных в 1979 году, отдают давно известным, приятно-старомодным. При этом переимчивость раннего Сирина, по точному замечанию другого его сверстника и приятеля молодости, литературоведа и поэта Глеба Струве, «поверхностная»[34], то есть выявление имеющихся в них многочисленных образных и ритмических переключек с кругом поэтов прошедшей эпохи к пониманию самих сириных стихов мало что добавляет, свидетельствуя лишь о том, что его поэтический слух заполнен чужими интонациями и образами. Старомодность сириных регулярных ямбов даже на фоне в целом консервативной эмигрантской поэзии дала основание Струве окрестить его «поэтическим старовером»[35]. Впрочем, как много лет спустя заметил Набоков-критик по другому поводу, «простой читатель» найдет в них «прелесть живой поэзии»[36].

Поэтическую эволюцию форсировало прежде всего освоение Набоковым прозы, а также смена поэтических образцов. Сравнение поэтики Сирина эпохи «Грозди» и «Горнего пути» со следующей, представленной сборником «Возвращение Чорба» (1930), где под одной обложкой объединены рассказы и стихи[37], данное Глебом Струве (стихов Набокова не любившим, но русскую литературу понимавшим) в его знаменитой «Русской литературе в изгнании», по-прежнему остается наиболее отчетливым:

«...ранний Набоков поражает своим версификационным мастерством, своей переимчивостью и своими срывами вкуса. <...> В более поздних, тщательно отобранных стихотворениях, вошедших в „Возвращение Чорба“ [38], подобных срывов вкуса уже почти нет, стих стал строже и суше... исчезли реминисценции из Блока, явно бывшие чисто внешними, подражательными, утратилось у читателя и впечатление родства с Фетом, которое давали более ранние стихи Набокова (сходство и тут было чисто внешнее, фетовской музыки в стихах Набокова не было, он всегда был поэтом пластического, а не песенного склада)».

Стихи из «Возвращения Чорба» Струве определяет как «прекрасные образчики русского парнасизма», они «иллюстрируют одно из отличительных свойств Набокова как писателя, сказавшееся так ярко в

его прозе: необыкновенную остроту видения мира в сочетании с умением найти этим зрительным впечатлениям максимально адекватное выражение в слове. Если над стихами этого периода какой-нибудь дух царит, то это дух Бунина»[39].

Набоков и сам ясно заявил свое поэтическое исповедание, патетически присягнув в верности музе Ивана Бунина, любовь к стихам которого вывез из России[40] и сохранил в эмиграции:

Как воды гор, твой голос горд и чист.

Алмазный стих наполнен райским медом.

Ты любишь мир и юный месяц, лист,
желтеющий над смуглым сочным плодом.

Ты любишь змей, тяжелых злых узлов
лиловый лоск на дне сухой ложбины.
Ты любишь снежный шелест голубиный
вокруг лазурных, влажных куполов.

Твой стих роскошный и скупой, холодный
и жгучий стих один горит, один
над маревом губительных годин,
и весь в цветах твой жертвенник свободный,

Он каплет в ночь росю ледяной
и янтарями благовоний знойных,
и нагота твоих созвучий стройных
сияет мне как бы сквозь шелк цветной.

Безвестен я и молод в мире новом,
кошунственном, но светит все ясней
мой строгий путь: ни помыслом, ни словом

не согрешу пред музою твоей.

В поэзии Бунина Сирина, вероятно, привлекали как формальный поэтический архаизм и, так сказать, стихийно-феноменологическая, поверхностно напоминающая акмеистическую поэтика, так и свойственные ему самому обостренная чувственная восприимчивость к внешнему миру, «до муки острое, до обморока томное желание» выразить свои восприятия в словах[41], органическая способность к переживанию радости (своеобразно соединенной с не менее острым ощущением преходящести мира), порождающая пантеистическую религиозность, ощущение присутствия Бога в красоте природы. Несколько позже свою естественную предрасположенность к тому, чтобы быть заочным, но прилежным учеником Бунина, Набоков возвел в ранг принципиальной антимодернистской позиции: в рецензии 1929 года на «Избранные стихи» Бунина, которые многими в эмиграции были названы глубоко непоэтичными, лишенными музыки, Набоков назвал его поэзию «лучшим, что было создано русской музой за несколько десятилетий», противопоставив модным «слов кощунственных творцам»[42], то есть как символистам предреволюционной России, так и эмигрантским «любителям современности, совершенно не способным понять вечную прелесть бунинских стихов»[43].

Свое новое, неоклассицистическое и преждевременно старческое, *arg roétique* периода конца 1920-х – начала 1930-х годов Набоков сформулировал в очередном обращении к музе, датированном 1929 годом (это стихотворение хронологически принадлежит эпохе «Возвращения Чорба», однако открывает следующий поэтический сборник Набокова, «Стихотворения 1929–1951 гг.» (Париж: Рифма, 1952), знаменуя, по словам автора, завершение юношеского периода его поэтического творчества[44]):

Я опытен, я скуп и нетерпим.

Натертый стих блистает чище меди.

Мы изредка с тобою говорим

через забор, как старые соседи.

Да, зрелость живописна, спору нет:

лист виноградный, груша, пол-арбуза

и – мастерства предел – прозрачный свет.

Мне холодно. Ведь это осень, муза.

В позднейших автокомментариях (в значительной степени ориентированных на ретроспективное конструирование образа Сирина, не во всем совпадающего со сложной картиной реального прошлого) Набоков утверждал, что поставленная им перед собой в 1930–е годы задача – «чтобы каждое стихотворение имело сюжет и изложение», была «как бы реакцией против унылой, худосочной „парижской школы“ эмигрантской поэзии»[45]. В отличие от Адамовича–критика (несравнимо более влиятельного), отмечавшего прежде всего трудно уловимую лирическую «ноту» эмигрантской поэзии, Набоков в своих критических отзывах сосредотачивается на «технических» сторонах стиха и настойчиво повторяет «прозаические» требования к поэзии (у стихотворения «должна быть своя завязка, своя развязка»[46], «проза в стихах значит совершенную свободу поэта в выборе тем, образов и слов»[47]). Однако собственная поэтическая эволюция Набокова, те полтора десятка стихотворений, что были им напечатаны после 1930 года (то есть с того момента, как начал выходить журнал «Числа», формально обозначивший позицию «парижской ноты» и круг ее авторов) и до его эмиграции в Америку в 1939 году, не сводится к этой задаче и, как всякое настоящее художественное явление, мотивирована уже не внешними задачами и биографическими влияниями, а внутренними, в том числе интертекстуальными, процессами.

Последнее десятилетие перед началом Второй мировой войны отмечено в поэтическом творчестве писателя значительным уменьшением продукции и, соответственно, отсутствием ее рецепции современниками – следующий, после «Возвращения Чорба», сборник стихов Набоков выпустил только в 1952 году, что придало этой, наиболее значительной, части его поэтического наследия полу–фантомный характер. В эти годы Набоков как будто внезапно, без видимого перехода, обрел современный, сложный и своеобразный поэтический голос, к сожалению звучавший недолго, так как, перебравшись в Америку, он перестал регулярно и всерьез писать стихи. О новой поэтике можно судить прежде всего по «Славе» (1942) и «Парижской поэме» (1944), а также по более ранним стихотворениям «Вечер на пустыре» (1932) и «Как я люблю тебя» (1934) с их нерегулярной строфикой, частой сменой типов рифмовки, резкими перепадами интонации и семантическими эллипсисами, явно свидетельствующими о внимательном чтении Пастернака. Набоков–поэт переживал метаморфозу, освобождаясь, по его собственному позднему признанию, от «добровольно принятых на себя оков», что происходило неприметно для критики, занятой исключительно его прозой. Не полностью реализованный потенциал поэтических текстов Набокова второй половины 1930–х годов, не имевших развития и рецепции, обеспечил им, однако, подспудное существование в творчестве писателя в качестве фантомной «охранной грамоты» его русского поэтического прошлого, давшей ему основание до конца жизни – независимо от мнения критики – осознавать себя русским поэтом и заявить об этом в последней подготовленной им к печати книге, сборнике 1979 года «Стихи».

Обретение Набоковым собственного «твердого» поэтического стиля

происходило своеобразным путем: через сочинительство под маской, за вымышленных поэтов Федора Годунова–Чердынцева из «Дара» и Василия Шишкова, снабженных эклектичной поэтикой с метапоэтическим комментарием, а также эмигрантской литературной биографией и обладающих мерцающим сходством–различием с Набоковым.

Стихотворение «Поэты», подписанное именем Василия Шишкова, увидело свет в июле 1939 года в выходившем в Париже ведущем журнале русской эмиграции «Современные записки». За этим последовала известная история с хвалебной рецензией на него Г. Адамовича, публикацией рассказа Сирина «Василий Шишков», разоблачившего истинное авторство стихотворения, новым ответом Адамовича и выходом еще одного шишковского стихотворения, «Обращение» [48]. Многие исследователи в интерпретации этой истории солидаризовались с предложенной самим Набоковым десять лет спустя и неоднократно им повторенной версией, будто это была попытка «испробовать на деле, будет ли он [Адамович] так же вяло отзываться о моих стихах, если не будет знать, что они мои» [49]. Другие ставили эту версию под сомнение, указывая, что Набоков не мог твердо рассчитывать на то, что Адамович обратит внимание на первое и единственное стихотворение доселе неизвестного поэта, – и, следовательно, поэтику и прагматику «Поэтов» нельзя сводить к розыгрышу критика, с которым у Сирина были сложные отношения [50]. Кроме того, в поэтике стихотворения ничто не давало оснований заподозрить авторство Сирина, который к тому же с 1934 года стихов не печатал, поэтому, в частности, высокая оценка, данная Адамовичем «Поэтам», никак не могла служить разоблачением его предвзятости по отношению к Сирину. Мы оставим в стороне версию розыгрыша, соответствующую главным образом литературной персоне эмигрантского писателя Сирина, придуманной Набоковым в американские годы, и сосредоточимся на поэтике стихов Шишкова.

Рассмотрение шишковских стихотворений как небольшого цикла (именно так, рядом, они помещены в сборнике Набокова «Стихотворения 1929–1951 гг.» без указания на псевдонимный характер их первой публикации) проявляет их тематическое и стилистическое единство, а также связь с личными темами, актуальными в 1939 году для Набокова, готовившегося «вследствие событий, вторично разбивших нашу жизнь» [51], покинуть континент и сжимающийся мир русской эмигрантской литературы. Шишковские стихотворения объединены темой прощания поэта с дорогим ему прошлым, мучительного отказа от всего, что с ним связано, и перехода в новое состояние, которое описывается как сходное со смертью («нагорный вереск», «пустыня ли, смерть, отрешенье от слова», «я спустился в долину»). Поэт прощается с юностью («оглянулся я, и удивительно, / до чего ты мне кажешься, юность моя, / по цветам не моей, по чертам недействительной»), с томящим и мучающим его современным миром («не видеть всей муки и прелести мира»), отказывается даже от воспоминаний о России, от русского языка, от собственных «снов» и «имени».

Если тематически шишковские стихи вполне автобиографичны или, вернее, автопсихологичны, то их поэтика не похожа на поэтику Сирина – «поэтического старовеера», «парнасца», каким его знала эмигрантская публика. Впрочем, к 1939 году Набоков, уже в начале 1930–х писавший другие, не сиринские стихи, почти отказался от фигуры Сирина.

Последнее перед шишковскими стихотворение, «L'Inconnue de la Seine», было им напечатано в 1934 году с подзаголовком «Из Ф. Г. Ч.», то есть, вероятно, из стихов Федора Годунова–Чердынцева, героя романа «Дар», над которым Набоков тогда только начал работать; далее вышел роман «Дар» со стихами его протагониста и два шишковских стихотворения, а в американской эмиграции он выступал как Набоков или Набоков–Сирин. Можно сказать, что имя Василия Шишкова было поэтической маской, переходной от Сирина к Набокову.

Объяснение тому, как произошла столь резкая смена поэтики и позиции Набокова, отчасти, вероятно, можно найти в изменении его отношения к миру русской эмиграции, а именно в «эпилогическом» его восприятии. Теперь эмигрантская литература стала для него не местом «литературной войны», а нейтральным арсеналом фрагментов поэтик и судеб, почти не связанных с принадлежностью к конкретным авторам, относительно которых Сирин в свое время высказывал те или иные оценки[52]. Эмигрантский литературный контекст утратил для Набокова актуальность в конце 1930–х в связи с его вынужденными планами, под угрозой надвигающейся войны, перебраться с семьей в англоязычную страну. Однако, как представляется, толчок этому процессу дало поэтическое молчание и отчаяние Владислава Ходасевича, поэта и критика, высоко им ценимого, солидарность с которым в «литературной войне» против «Чисел» в значительной степени определяла позицию Набокова в эмиграции середины 1930–х, и его смерть (стихотворение «Поэты» было напечатано в 1939 году в одном номере «Современных записок» с подборкой некрологических материалов о Ходасевиче, в том числе эссе Сирина, хотя написано было несколько раньше). В этом контексте финальная фраза шишковского стихотворения «Поэты» (начальная фраза которого «свеча переходит» анаграммирует фамилию Ходасевича) – «молчанье зерна» – отсылает не столько к заглавию давнего сборника Ходасевича «Путем зерна» (1920), сколько к ее употреблению в известной полемике Адамовича и Ходасевича середины 1930–х о молодой эмигрантской литературе (Адамович писал, что ей необходимо «„умереть и воскреснуть“, как приносящему плод зерну»[53], и напоминал Ходасевичу, что когда-то тот помнил, что «на земле все живое идет „путем зерна“»[54], на что Ходасевич возражал: то, что предлагает молодым поэтам Адамович – это «не путь зерна, а судьба в лучшем случае чернозема, перегноя, который сам ничем стать не может, но в котором „когда-нибудь“ могут прорасти чьи-то зерна»[55]). Шишковская фраза «молчанье зерна» говорит о том, что зерно, упавшее в землю, не проросло; «числовская» тема «молчания»[56], «отчаяния» и «самых простых слов» распространилась, поверх прежних споров, на всю эмигрантскую поэзию. Стихотворение «Поэты» с его подчеркнута простыми, как будто безыскусными рифмами («переходит – находит», «видеть – обидеть») вплоть до тавтологических («малолетних – летних»), разговорной интонацией («мы ведь, поди, вдохновение знали», «нам жить бы, казалось, и книгам расти»), декларациями простоты («а может быть проще») и «молчания» («молчанья любви... молчанья отчизны... молчанья зарницы, молчанья зерна») в полной мере использует эту поэтику, причем видимая простота сочетается здесь с большим поэтическим мастерством, оцененным Адамовичем: «В одном его [Шишкова] повторении насчет „красы, укоризны“ вечерней зари больше поэтического содержания, чем в десятках иных сборников»[57].

В целом стихотворение «Поэты» представляет собой опыт апроприации тех элементов «парижской» поэтики, которые были нужны Набокову для трактовки болезненных, трагических для него тем. Однако характерным образом самое серьезное высказывание Набоков делает «на самом краю пародии», пробираясь «по узкому хребту между своей правдой и карикатурой на нее» [58]. В последовавшем за хвалебной рецензией Адамовича на «Поэтов» рассказе «Василий Шишков» нет, вопреки позднему утверждению Набокова, «критического разбора самого стихотворения и похвал Адамовича». Этот рассказ представляет собой комментарий к «Поэтам», уточняющий эмигрантскую литературную биографию Шишкова как представителя молодой эмигрантской литературы, то есть более молодого, чем Набоков, эмигрантского поколения, полностью сложившегося вне России, судьба которого была центральной темой полемики Адамовича и Ходасевича. Один из вариантов «ухода», которые перебирает Шишков, – «убраться в Африку, в колонии» [59] – отсылает, поверх фигуры Рембо, к Борису Поплавскому, именование которого «русским Рембо» было в эмиграции общим местом. Если же соединить мотив «исчезновения» Шишкова с точным подсчетом его возраста, он оказывается сверстником Николая Гронского (1909–1934), еще одного молодого поэта, чья нелепая, как и у Поплавского, гибель была воспринята в эмиграции как символическая для судеб молодого поколения. Подтверждение тому, что Набоков действительно ориентировал своего Шишкова на двух этих рано и трагически ушедших поэтов, обнаруживается в английском автопереводе рассказа, где даны другие, чем в русском оригинале, рифмы тех стихов, которые Шишков вначале предьявляет повествователю, чтобы проверить точность и беспристрастность его критического суждения. Первая, «театр – гладиатор», отсылает к претензии, высказанной Сириным в рецензии 1931 года на сборник Поплавского «Флаги», – «небрежность, неряшливость слуха, которая, удваивая последний слог в слове, оканчивающийся на две согласных, занимает под него два места в стихе: <...> „орекстер“, „пюпитыр“ <...>» [60]. Вторая, «Мадонна – беладонна», представляет собой явную аллюзию на альпинистскую поэму Николая Гронского «Беладонна» (самое знаменитое опубликованное посмертно произведение молодого поэта – Альфред Бём даже назвал его одним из «наиболее значительных явлений эмигрантской поэзии за все время ее существования» [61]). В поэме Гронского эта словесная пара несколько раз встречается в положении аллитерации и рифмы: «Спи пленник гор, у ног своей Мадонны. / Ты в памяти моей воскреснешь в утро труб, / В скалистом цирке черной Белладонны / Неузнаваемый опознан будет труп»; «...Ползли. Цепь черной Белладонны / У ног и небо без конца: / Я на главе самой Мадонны / Стоял у крайнего зубца» (у Гронского «Мадонна» и «Белладонна» – названия гор) [62]. Стихи, содержащие эти рифмы, написаны Шишковым как пародия на продукцию графоманов и оценены повествователем как «плоские, пестрые, зловеще претенциозные» [63] (в русском оригинале рассказа здесь рифмы «жасмина / выражала ужас мина», «беседки / бес едкий», «ноктюрны / брат двоюрный» [64], отсылающие в общем к комически плохой версификации). Таким образом трагическая судьба Шишкова, его «уход», напоминая гибель Поплавского и Гронского, соединяется с низкой оценкой творчества молодых парижских поэтов. В финале рассказа Набоков перекодирует «уход» Шишкова в металитературный: Шишков «в каком-то невыносимом для рассудка, дико буквальном смысле»

«исчезает», «растворяется» в своем творчестве, оставляя своей «туманной» биографической личности «только стихи» [65]. «Не переоценил ли он „прозрачность и прочность такой необычной гробницы“?» – спрашивает в финале повествователь [66], цитируя стихотворную строчку самого Шишкова. Эта написанная, как и «Поэты», амфибрахийем строка, вероятно, является аллюзией к вышедшей в 1930 году драме в стихах «Беатриче» Владимира Корвин–Пиотровского, которого не тароватый на похвалы сверстникам Сириин назвал «прекрасным поэтом» («...В гробнице этой, тесной и прозрачной... / Седую вечность запереть и смерти / Вручить холодные ключи?..» [67]). Эта строка перекликается и со стихотворением Ходасевича «Ласточки» из сборника «Тяжелая лира»: «Вон ту прозрачную, но прочную плеву...». Таким образом, созданная Набоковым поэтическая фигура Василия Шишкова амальгамирует в разных модусах, соединяющих трагическую серьезность с иронией, пародией и стилизацией, элементы разных эмигрантских поэтик и судеб, причем выбор их мало связан с отношением к ним Набокова в актуальных литературных конфликтах эпохи. Металитературное перекодирование этих элементов позволяет Набокову сделать фигуру исчезнувшего молодого поэта формой, той «прозрачной и прочной гробницей», в которую он упаковывает, собирает, как в поминальной ладье, разрозненные мотивы, интонации, образы молодой русской эмигрантской поэзии, соединяя их в не существовавшее в реальности эклектичное единство, общим знаменателем для которого служит значимая для него в 1939 году тема «молчания» и «ухода».

Несколько иную метапоэтическую задачу и снова под маской решает Набоков в романе «Дар» (1937–1938). Одна из ключевых черт романа – зарождение стихов и отдельных поэтических строк его протагониста, эмигрантского поэта Федора Годунова–Чердынцева, в самой плоти прозы, демонстрация процесса поэтического творчества, когда сочиняемое стихотворение высвобождается из автоматического и отчасти бальмонтского «ада аллигаторских аллитераций», «адских кооперативов слов» («хрустальный хруст той ночи христианской под хризолитовой звездой...»), неконтролируемо бегущей «ряби рифмы» («...и умер исполин яснополянский, и умер Пушкин молодой... и умер врач зубной Шполянский. Астраханский, ханский, сломал наш Ганский... Ветер переменялся и пошло на „зе“: изобразили и бриз из Бразилии, изобразили и ризу грозы...») [68], возникающих помимо сознания аллюзий («Благодарю тебя, Россия, за чистый и... второе прилагательное я не успел разглядеть при вспышке – а жаль. Счастливый? Бессонный? Крылатый? За чистый и крылатый дар. Икры. Латы. Откуда этот римлянин? Нет, нет, все улетело, я не успел удержать» [69]), когда из разговора, гудящего голосами «тысячи собеседников», остается «лишь один настоящий, и этого настоящего надо было ловить и не упускать из слуха» [70]. Помимо процесса порождения стихов в романе – в воображаемой героем рецензии на его стихотворный сборник – представлен их ретроспективный авторский анализ, оценка достоинств и неудач, правильное, «по скважинам», чтение. Наконец, в представленном в «Даре» творческом движении Годунова–Чердынцева от поэзии к прозе демонстрируется и тематизируется преодоление поэзии, обогащение прозы поэтическим опытом: «Учась меткости слов и предельной чистоте их сочетания, он доводил прозрачность прозы до ямба и затем преодолевал его, – живым примером служило: Не приведи

Бог видеть русский бунт, / бессмысленный и беспощадный»[71]. При republicации в сборнике «Стихи» 1979 года поэтические тексты (преимущественно фрагменты) Годунова–Чердынцева вырваны из этой порождающей их прозаической среды и окружающего в романе металитературного комментария и представлены как отдельный корпус. До этого практически никому из читателей романа не приходило в голову оценивать стихи Годунова–Чердынцева сами по себе, вне их связи с основным текстом. Кажется, только Кирилл Елита–Вильчковский заметил, что «[е]два ли не лучшие стихи в шестьдесят пятой книжке „Современных записок“ – не в отделе стихов, а в отделе прозы, небрежно подкиннутые герою „Дара“ расточительным Сириным и вкрапленные в текст как прозаические строки с безошибочно рассчитанной скромностью»[72]. Однако их выделение из романа в сборнике 1979 года ставит новый круг вопросов: в какой степени эти стихи можно назвать набоковскими, какова поэтика Федора Годунова–Чердынцева (а также другого поэта в романе, Кончеева, представленного одним двустишием, также включенным в сборник 1979 года)? В сборнике они помещены в раздел «Стихи из рассказов и романов» вместе с сугубо пародийными имитациями несомненно чуждых Набокову стилистических моделей, что переводит их в иную категорию, чем шишковские стихотворения, которые автор публиковал (в сборнике 1952 года) без указания на псевдонимный характер их первого появления. Иными словами, читая стихи Годунова–Чердынцева, читатель не должен «воскликнуть „ага!“ и уравнивать рисовальщика и рисунок»[73]. М. Ю. Лотман считает, что «Годунов–Чердынцев пишет другие стихи, чем Набоков, и гораздо больше они напоминают творчество Набокова–прозаика, нежели Сирина–поэта. Годунов–Чердынцев – в первую очередь изощренный автор, он одновременно аскет и сноб, крайне сдержанный и в выборе стилистических средств, и в выборе тематики»[74]. Исследователями были предприняты остроумные попытки описать поэтику обоих придуманных Набоковым в «Даре» поэтов как автономных творцов[75]. В частности, у обоих отмечались параллели со стихами О. Мандельштама. Действительно, в романе явно присутствует «акмеистический» элемент, который заявлен уже в эпиграфе, взятом из русской грамматики: «Дуб – дерево, роза – цветок...», который по своему пафосу перекликается с известным антисимволистским пассажем из статьи О. Мандельштама «О природе слова» (1922): «Для символистов... роза – подобие солнца, солнце – подобие розы... Образы выпотрошены, как чучела, и набиты чужим содержанием». Однако родство это скорее типологическое, как и прочие подтексты, которые можно вычитать из строк Годунова и Кончеева. Как представляется, поскольку здесь мы имеем дело не с рунированным текстом, а с фрагментами, не обладающими полноценной художественной жизнью, их интерпретация, изолированная от прагматики всего романа, остается в слишком большой степени произвольной. Стихи эти живут только внутри ткани романа, в неразрывной связи с решаемыми в нем литературными и металитературными задачами.

Суммирование Набоковым в конце 1930–х потенциальных возможностей русской эмигрантской поэзии и металитературный анализ механизмов вдохновения и творчества были частью подготовки к разрыву со своим собственным русским эмигрантским, то есть сириным, прошлым. Этот трагический разрыв реализовался в отходе от прямолинейного высказывания от лица лирического «я» поэта, которое было свойственно

Сирину, и переходе к письму под полумаской. К этому же кругу задач принадлежит создание амальгамы разных поэтических голосов, конструирование эффекта полифонии в «Парижской поэме» (1944). Поэма, написанная уже в Америке, тематически посвящена русской литературной эмиграции в Париже и на первый взгляд своей эллиптичностью, предполагающей наличие шифра, и большим числом упоминаемых имен и названий напоминает поэму с ключом вроде «Форель разбивает лед» М. Кузмина или «Поэмы без героя» Ахматовой. Однако дешифровке, и то предположительной, поддаются лишь немногие ее фрагменты: в строках «Бродит боль позвонка перебитого / в черных дебрях Бульвар Араго» (курсив наш. – М. М.) анаграммирован, как заметил Омри Ронен, Павел Бред, псевдоним русского поэта-эмигранта Павла Горгулова, гильотинированного в 1932 году на бульваре Араго, традиционном парижском месте казней, за покушение на французского президента Поля Думера; несколько ироническая и лирическая, с отсылкой к Гоголю («Чуден Днепр при ясной погоде...»), обработка низкой темы писсуаров [76], возможно, представляет собой, также по наблюдению Ронена, полемическую реплику на «Распад Атома» Г. Иванова, который Набоков назвал очень плохой брошюрой с «банальным описанием писсуаров (могущим смутить только самых неопытных читателей)...» [77]. Однако темнота «Парижской поэмы» связана не с тем, что ключи к ней отброшены, эмигрантские прототипы пока не найдены, – вероятнее всего, их просто нет, поскольку Набоков ставил перед собой несколько иную задачу, родственную задаче «Дара»: показать «то хаотическое, нечленораздельное волнение, когда в сознании брезжит только ритм будущего создания, а не прямой его смысл» [78] и процесс его преодоления, рождения стиха. Именно это первоначальное поэтическое вдохновение Набоков представлял как разговор (но отнюдь не полифонический, в бахтинском смысле, а целиком контролируемый полновластным творческим сознанием) – «разговор с тысячью собеседников, из которых лишь один настоящий, и этого настоящего надо было ловить и не упускать из слуха» [79]. Хаос эмигрантских литературных отголосков перемешан в поэме с хрестоматийными цитатами из русской литературной классики, которые автор разъяснил иностранным читателям в примечаниях к «Poems and Problems», перенесенных в «Стихи» 1979 года: «От кочующих, праздно плутающих...» – «подражание некрасовской строке „От ликующих, праздно болтающих“...»; «Чуден ночью Париж сухопарый» – «подражание описанию Днепра в „Страшной мести“ Гоголя – „чуден Днепр при тихой погоде“...» и проч. Постепенно подготовительный поэтический шум чужих голосов, звучащих наподобие оркестра, который настраивает свои инструменты, стихает. Этот момент представлен замечательной метафорой творчества:

Лист бумаги, громадный и чистый,

стал вытаскивать он из себя:

лист был больше него и неистовствовал,

завиваясь в трубу и скрипя.

На мгновение одинокая творческая борьба в ночной мгле кажется поэту «запутанной, безысходной», однако он все же поднимает с панели «свой измятый листок». В последней строфе звучит окончательный, очищенный поэтический текст – фирменная набоковская декларация связности и гармоничности окружающего мира, сквозь который проступают узоры, берущие начало в детстве.

В этой жизни, богатой узорами
(неповторной, поскольку она
по-другому, с другими актерами,
будет в новом театре дана),
я почел бы за лучшее счастье
так сложить ее дивный ковер,
чтоб пришелся узор настоящего
на былое, на прежний узор...

Это наиболее ясная и законченная часть поэмы, но, пожалуй, и менее интересная, чем основная, «темная» ее часть. После переезда в Америку Набоков почти перестал писать по-русски. «...У меня с моей русской музой, – признавался он в дружеском письме, – тяжелые, трагические счеты, о которых идиоты, писавшие обо мне... не только не догадываются, но не имеют того аппарата, чтобы представить себе моих отношений с русской словесностью, – и те совершенно бредовые ощущения, которые возбуждает во мне практическая невозможность писать мои книги по-русски. <...> Когда уж совсем невыносимо пучит, пытаюсь ответриться небольшими стихами»[80]. В конце войны он написал несколько стихотворений, по характеристике самого автора, «откровенно гражданского пошиба»[81], которые включил в сборник 1979 года. Стихи эти, «Каким бы полотном» (1944) и «0 правителях» (1945), направлены против распространившихся в Америке, особенно среди либеральной интеллигенции, просоветских симпатий («...по какому-то странному совокуплению разнородных мыслей, военная слава России послужила для некоторых архибуржуазных кругов поводом к примирению с ее режимом»[82]). К этой публике раздраженный Набоков, чьи антисоветские взгляды были неколебимы, обращается стилизованно грубым, плакатным языком, что необходимо учитывать при оценке их поэтического качества. В случае со стихотворением «0 правителях» выбранная для этой цели стилизация ритмики и строфики Маяковского (поэта, судьба которого должна была послужить поучением) довольно очевидна. Что касается второго стихотворения, «Каким бы полотном», то здесь следует иметь в виду, что оно было написано по просьбе С. Ю. Прегель, издательницы журнала «Новоселье»[83], который, по словам

Набокова, «специализировался на этом патриотическом трепете», и представляло собой раздраженную и резкую отповедь в ответ на предложение сотрудничать [84] (потом этот текст, помимо воли Набокова и без указания его авторства, попал в печать в составе чужой политической статьи, что немало Набокова позабавило [85]).

Такого же внимательного учета контекста и прагматики поэтического высказывания требует известное стихотворение Набокова 1958 года «Какое сделал я дурное дело». Общее мнение современников–эмигрантов, сформулированное Г. П. Струве, заключалось в том, что это «гнусная» пародия на Пастернака [86], написанная именно тогда, когда поэт в советской России подвергался травле за роман «Доктор Живаго», вынудившей его отказаться от Нобелевской премии, и опубликованная сразу после получения известия о смерти Пастернака. Эта точка зрения опиралась на известный в эмигрантской среде «анти–Пастернакизм» Набокова («...неуклюжая и грубая книга, мелодраматическая дрянь, фальшивая исторически, психологически и мистически, полная пошлейших приемчиков (совпадения, встречи, одинаковые ладонки)» [87]), который многие приписывали зависти: роман Пастернака и «Лолита» Набокова, появившиеся почти одновременно, соперничали в 1958 году в списке мировых бестселлеров, что, естественно, способствовало их сравнению, чаще всего не в пользу Набокова [88]. Для понимания смысла этого стихотворения важна его датировка: Набоков написал его не 27 декабря 1959 года в Сан–Ремо, как он указывает в «Poems and Problems», а 26 февраля того же года, о чем свидетельствует сохранившаяся в его архиве (Berg Collection) карточка с автографом, то есть тогда, когда ему стихотворение Пастернака «Нобелевская премия», вероятно, было известно только в английском переводе. Перевод этот был напечатан английским журналистом Энтони Брауном, получившим автограф у Пастернака, в лондонской газете «Daily Mail» 11 февраля 1958 года (Браун привел также факсимиле автографа начальных строк каждой из четырех строф стихотворения) [89]. Русский текст этого получившего огромный отклик стихотворения не был известен вплоть до 21 февраля (когда он был помещен в нью–йоркской газете «Новое русское слово») – до этого русскоязычная пресса, обсуждая его, прибегала к обратным переводам, а сотрудник «Нового русского слова» Аргус даже попробовал реконструировать весь текст в обратном переводе, напечатав его в газете 18 февраля, а день спустя поместил там же плод аналогичной попытки, предпринятой Иваном Елагиным, считавшимся первым поэтом «второй» эмиграции. Можно предположить, что Набокова заинтересовало не столько собственно стихотворение Пастернака и не вызванное завистью сведение литературных счетов, сколько литературная задача того рода, какой ему всегда нравился (составление крестословиц, шахматных задач по ретроградному анализу и проч.) [90]. Он предложил не просто эмуляцию обратных переводов Аргуса и Ивана Елагина (а в «Poems and Problems» снабдил свой обратный русский перевод вдвойне обратным автопереводом на английский), но, со свойственной ему эгоцентричностью, присвоил отчасти им реконструированный текст Пастернака (3 и 4 строфы), сделав его текстом о своей «Лолите». То же самое он проделал в стихотворении 1972 года «Как любил я стихи Гумилева!», как будто бы процитировав, а на самом деле переиначив и присвоив строфу из текста Гумилева [91].

Можно также предположить, что стихотворение «Какое сделал я дурное

дело» – это реплика в воображаемом, вне времени и пространства, диалоге с Пастернаком (в юности Набоков представлял себе, что поэты говорят друг с другом за гробом – см. второе стихотворение из цикла «На смерть Блока» «Пушкин – радуга по всей земле...»[92] и «Памяти Гумилева»; в этом контексте, вероятно, важно то, что Набоков послал стихотворение в печать, только узнав о смерти Пастернака). «Что же сделал я за пакость, / Я убийца и злодей?» – восклицает Пастернак. Набоков откликается эхом: «Какое сделал я дурное дело, / и я ли развратитель и злодей...» Пастернак говорит о «Докторе Живаго»: «Я весь мир заставил плакать / Над красой земли моей». Набоков, соблюдая симметрию («весь мир» – «мир целый», «земли моей» – «девочке моей»), говорит о «Лолите»: «...я, заставляющий мечтать мир целый / о бедной девочке моей». В последних строфах оба поэта высказывают уверенность в посмертной художественной справедливости: «почти у гроба» (Пастернак) – «в конце абзаца» (Набоков). Причем Набоков, которого эмигрантская критика и в 1920–1930-е годы, и в 1958 году, сравнивая его «Лолиту» с «Доктором Живаго», обвиняла в «нерусскости», пишет о том, что когда-нибудь и он, вместе с Пастернаком, будет прославлен как глубоко русский писатель: «... тень русской ветки будет колебаться / на мраморе моей руки».

Чуть более десятка русских лирических стихотворений, написанных Набоковым в годы его жизни в Америке и потом в Швейцарии, которые завершают основную часть сборника 1979 года, представляют собой эмоциональный отклик поэта, в совершенстве владеющего техникой стиха, на внезапные приступы болезненного дребезжания его старых «русских струн» (стихотворение «Neuralgia intercostalis»). Эти прекрасные стихи лишены всякой политизированности, пародийности, металитературности и проч. – в них, по словам Набокова, перефразирующего известную дилемму «мысли» и «музыки» в поэзии, он довольствуется дающейся поэтическим опытом и резиньяцией «ничьей меж смыслом и смычком».

* * *

Значимой частью сборника «Стихи» 1979 года является предисловие Веры Набоковой, в котором она утверждает, что главной темой ее мужа, которая «как некий водяной знак, символизирует все его творчество», была тема «потусторонности». После «потусторонность» несколько лет была одной из доминантных исследовательских тем в набоковедении, однако в 1979 году, когда вдова писателя впервые ее обозначила, она была довольно неожиданной, во всяком случае противоречащей сложившейся в русской эмигрантской критике репутации Набокова как глубоко нерелигиозного писателя. Можно не сомневаться, что сказанное Верой Набоковой полностью авторизовано ее мужем[93] и составляет контрапункт к заключительным словам завершающего сборник стихотворения «Влюбленность» из романа «Смотри на арлекинов!». Конечно, эта «потусторонность» связана не с традиционной православной религиозностью, а с мистической, неоплатонической традицией, вероятно воспринятой Набоковым в свое время через призму

символизма, через влияние матери, не безразличной к мистическому опыту, через общение в Крыму в 1918 году с оккультистом и музыкантом В. И. Подем и проч. Бросается в глаза контраст между отчетливостью и определенностью Веринной формулировки и игровой энigmatичностью, целомудренной уклончивостью тут же ею приводимых высказываний самого Набокова на эту тему: «Эта тайна та-та, та-та-та-та, та-та, а точнее сказать я не вправе»[94]. Это задает, как кажется, правильный тон исследователям. Попытки дать «потусторонности» Набокова более конвенциональное определение неизменно ее банализируют. То, как выразила эту мысль Вера Набокова, проиллюстрировав цитатами из текстов мужа, стилистически, пожалуй, наиболее удачно именно благодаря скрытому в этом высказывании парадоксу, иронии, уклончивой недоговоренности: эта тайна, несомненно, главное в его творчестве, однако точнее сказать мы не вправе.

Мария Маликова

Комментарии

В примечаниях указываются только значимые разночтения между текстом настоящего сборника и более ранними редакциями. В целом, адаптируя ранние стихи для переиздания 1979 года, Набоков регулярно использовал самый ранний вариант текста (вероятно, опираясь даже не на газетную публикацию, а на рукопись), последовательно нормализуя пунктуацию (снимая многочисленные в ранних версиях восклицательные знаки, многоточия и прочее).

Сокращения

ВЧ – Сирин В. Возвращение Чорба: Рассказы и стихи. Берлин: Слово, 1930

Гроздь – Сирин В. Гроздь. Берлин: Гамаюн, 1923

ГП – Сирин Вл. Горний путь. Берлин: Грани, 1923

Набоков I–V – Набоков В. В. Русский период. Собр. соч.: В 5 т. / Сост. Н. И. Артеменко–Толстой. СПб.: Симпозиум, 1999–2000

С1952 – Набоков В. Стихотворения 1929–1951. Париж: Рифма, 1952

С1979 – Набоков В. Стихи. Анн Арбор: Ардис, 1979

Стихи и комментарии – Владимир Набоков. Стихи и комментарии. Заметки «для авторского вечера 7 мая 1949 года» / Вступ. статья, публ. и ком. Г. Б. Глушанок // Наше наследие. 2000. № 55

Berg Collection – Архив Набокова в коллекции Берга (Berg Collection)

Нью-Йоркской публичной библиотеки

PP – Nabokov V. Poems and Problems. New York: McGraw Hill, 1970

Даты написания стихотворений даются в соответствии с работой: D. Barton Johnson with Wayne C. Wilson. Alphabetical and Chronological Lists of Nabokov's Poetry // Russian Literature Triquarterly. 1990. № 24. Nabokov Issue. P. 355–415; а также нашими разысканиями в архиве Набокова (Berg Collection).

С. 5...в романе «Дар» (стр. 130, второй абзац, и продолжение на стр. 131). – Ссылка на первое полное издание романа «Дар» (Анн Арбор: Ардис, 1952); см.: Набоков IV. С. 298–299.

С. 9. Дождь пролетел. – Впервые: А. Балашов и В. В. Набоков. Два пути. Альманах. Пг., 1918. Без заглавия (репринты сборника: М.: Зверевский центр современного искусства, 2003; СПб.: Реноме, 2013, изд. подг. Е. Б. Белодубровский). Написано в мае 1917 г. Единственное из стихотворений этого сборника, которое Набоков счел достойным переиздания. Его прозаический парафраз можно найти в 11-й главе англоязычного варианта автобиографии Набокова «Speak, Memoгу» («Память, говори»), не включенной в русский текст «Других берегов»: «Гроза миновала быстро. <...> Следующий миг стал началом моего первого стихотворения. Что подтолкнуло его? Кажется, знаю. Без малейшего дуновения ветерка, один только вес дождевой капли, сияющей в паразитической роскоши на душистом сердцевидном листке, заставляет его кончик кануть вниз, и подобие ртутной капли внезапно соскальзывает по его срединной прожилке, и лист, обронив яркий груз, взлетает вверх. Лист, душист, благоухает, роняет...» (Набоков В. Память, говори / Пер. с англ. С. Ильина // Набоков В. В. Американский период. Собр. соч.: В 5 т. Т. 5. СПб.: Симпозиум, 1999. С. 501).

С. 10. К свободе. – Написано 3 (16) декабря 1917 г. в Гаспре (Крым), куда Владимир Набоков вместе со своим братом Сергеем бежал из революционного Петрограда; в день написания стихотворения к ним присоединился их отец В. Д. Набоков, видный член кадетской партии, бывший после Февральской революции управляющим делами Временного правительства, он уехал в Крым после декрета большевиков «Об аресте вождей гражданской войны против революции». Публикация в ялтинской газете, упомянутая в примечании Набокова, не выявлена.

С. 11. Поэт. – Впервые: ГП. Написано 6 октября 1918 г.

С. 13. «В хрустальный шар заключены мы были...» – Впервые: ГП. Написано 26 ноября 1918 г.

С. 14. «Ты на небе облачко нежное...» – Впервые: ГП. Написано 23 декабря 1918 г.

С. 15. Россия. – Впервые: Русская мысль (София). 1921. № 5–7. Включено в ГП.

- С. 16. Архангелы. – Впервые: ГП, в составе девятичастного цикла «Ангелы», описывающего чины небесной иерархии по Дионисию Ареопагиту.
- С. 17. Тайная вечеря. – Впервые: Руль (Берлин). 1921. 29 апреля. Написано не в 1918 г. в Крыму, как указано в С1979, а 12 июня 1920 г., то есть уже в европейской эмиграции.
- С. 18. / Отрывок /. – Впервые: ГП. Написано 20 мая 1920 г., то есть так же, как и предыдущее стихотворение, не в Крыму, а в Европе, однако, несомненно, под воздействием крымских визуальных впечатлений и бесед с В. И. Полем (см. о нем примеч. к стихотворению «Эфемеры»). По словам самого автора (в комментарии к С1979), это и еще несколько стихотворений того же периода не являются собственно религиозными и представляют собой стилизаторское «стремление развить византийскую образность».
- С. 19. Движенье. – Впервые: Сегодня (Рига). 1922. 20 декабря. Написано 9 марта 1920 г.
- С. 20. Рыцарь. – Впервые: С1979. Написано 31 марта 1919 г.
- С. 21. Еще безмолвствую. – Впервые: ГП. Без заглавия. Написано 5 апреля 1919 г.
- С. 22. Номер в гостинице. – Впервые: РР. Написано 8 апреля 1919 г. В примечании Набоков уточняет: «Отель „Метрополь“, номер 7... за несколько дней до прощания с Россией» (РР. Р. 213). Набоковы отплыли из Крыма на греческом судне «Надежда» 2 (15) апреля 1919 г., за несколько дней до взятия его красными.
- С. 23. Акрополь. – Впервые: Руль. 1921. 13 ноября. Написано 7 июня 1919 г.
- С. 24. Football. – Впервые: ГП. По словам Набокова, «как иной рождается гусаром, так я родился голкипером» (Набоков В. Другие берега // Набоков В. С. 307).
- С. 25. La Morte d'Arthur. – Впервые: ГП. В составе цикла из 17 коротких стихотворений «Капли красок».
- С. 26. «Будь со мной прозрачнее и проще...» – Впервые: ГП.
- С. 27. У камина. – Впервые: Руль. 1921. 22 декабря.
- С. 28. «Людам ты скажешь: настало». – Впервые: ГП. Без посвящения.
- С. 29. Телеграфные столбы. – Впервые: ГП.
- С. 30. «Когда, мечтательно склонившись у дверей...» – Впервые: С1979.
- С. 31. «В неволе я, в неволе я, в неволе!» – Впервые: С1979.

- С. 32. Романс. – Впервые: ГП, с вариантом 16–й строки: «заполняются влагой жемчужной».
- С. 33. Ласточки. – Впервые: ГП. Автограф в письме родителям из Кембриджа от 10 июня 1922 г., с комментарием: «На следующей странице ты найдешь, милый папочка, неизданное стихотворение Алекс[андра Серг[еевича]. Представь себе монастырь, ласточек и левитановское озеро...» (Berg Collection).
- С. 34. Так будет. – Впервые: С1979.
- С. 35. «Я без слез не могу...» – Впервые: Руль. 1921. 12 апреля. Включено в ГП. Написано 1 апреля 1920 г.
- С. 36. Каштаны. – Впервые: Руль. 1922. 4 июня. Написано 20 мая 1920 г.
- С. 37. И. А. Бунину. – Впервые: Руль. 1922. 1 октября. Без заглавия, с посвящением «Ивану Бунину»; включено в Гроздь. Набоков послал это стихотворение Бунину в письме от 26 ноября 1922 г.: «Простите же мою смелость, простите, что докучаю вам непрошеным приветом. Я хочу только, чтобы вы поняли, с каким строгим восторгом я гляжу с моего холма на сверкающую вершину, где в скале вами вырезаны вечные, несравненные слова» (Архив Бунина в Лидсе; цит. по: Шраер М. Набоков: Темы и вариации. СПб.: Академический проект, 2000. С. 134).
- С. 38. «Разгорается высь...» – Впервые: ГП. Написано 24 ноября 1918 г. в Крыму (в С1979 указано: 1920).
- С. 39. В раю. – Впервые: Сегодня. 1922. 29 октября. Включено в ГП. Написано 13 сентября 1920 г.
- С. 40. Пир. – Впервые: Руль. 1922. 7 января. Включено в ГП.
- С. 41. Тристан. – Первое стихотворение этого двухчастного цикла («По водам траурным и лунным...») впервые: Сполохи (Берлин). 1921. № 1. Ноябрь. Оба включены в Гроздь (где впервые было опубликовано второе стихотворение цикла).
- С. 43. Облака. – Впервые: Руль. 1921. 22 мая. Включено в ГП.
- С. 45. В поезде. – Впервые: Руль. 1921. 10 июля. Включено в Гроздь.
- С. 46. «Кто меня повезет...» – Впервые: Руль. 1921. 2 октября. Включено в ГП. Написано 18 августа 1920 г.
- С. 47. Перо. – Впервые: Жар–Птица (Берлин). 1921. № 4–5. Включено в ГП. Автограф в письме матери из Кембриджа от 7 июня 1921 г.: «... нового ничего нет, кроме разве стишка, который посылаю тебе: он удался» (Berg Collection).
- С. 49. «Мечтал я о тебе так часто, так давно...» – Впервые: Гроздь.
- С. 50. «Как было бы легко, как песенно, как дружно...» – Впервые:

С1979.

С. 51. «От взгляда, лепета, улыбки...» – Впервые: С1979.

С. 52. «Позволь мечтать... Ты первое страданье...» – Впервые: Гроздь.

С. 53. «Мерцательные тикают пружинки...» – Впервые: ГП.

С. 54. Рождество. – Впервые: Сполохи. 1921. № 2. Декабрь. Включено в Гроздь.

С. 55. Осенние листья. – Впервые: Руль. 1921. 7 декабря. Первое стихотворение одноименного цикла (со стихотворениями «На черный бархат лист кленовый...» и «В переулке на скрипке играет слепой...», не включенными в С1979).

С. 56. Домой. – Впервые: Руль. 1921. 12 октября. Под заглавием «Возврат». Включено в ГП.

С. 57. Велосипедист. – Впервые: ГП. Написано 30 сентября 1918 г.

С. 59. Бабочка (*Vanessa antiopa*). – Впервые: ГП.

Vanessa antiopa (также *Vanessa atalanta*, *Red Admiral*, или, в архаичном варианте, который предпочитал Набоков, *Red Admirable*) – бабочка из семейства нимфалид, часто упоминается в произведениях Набокова (см.: Karges Joann. Nabokov's Lepidoptera: Genres and Genera. Ann Arbor: Ardis, 1985. P. 83).

С. 60. Кони. – Впервые: ГП. Автограф в письме матери из Кембриджа от 27 мая 1921 г.: «Дорогая мамочка, вчера я поехал странствовать по окрестностям, – щелкали соловьи, столбом стояли мошки, пахло черемухой и розовым небом и прошлым, кругом широко, задумчиво зеленели поля, и, сидя на изгороди, обрызганной белыми мазками (птичьим молоком...), между цветущими кустами, над придорожной канавой, где поблескивал мой велосипед, отдыхающий после гладкого бега под гору, я сочинил тот четкий стишок, который тебе посылаю...» (Berg Collection).

С. 61. Пьяный рыцарь. – Впервые: ГП. Написано 4 июня 1921 г. в Кембридже (автограф в открытке матери вместе со следующим стихотворением).

С. 62. «Я думаю о ней, о девочке, о дальней...» – Включено в ГП. Написано 4 июня 1921 г. в Кембридже (см. примеч. к предыдущему стихотворению).

С. 63. Знаешь веру мою? – Впервые: Руль. 1922. 22 июня.

С. 64. «Кто выйдет поутру? Кто спелый плод подметит!» – Впервые: Руль. 1922. 4 июня. Включено в Гроздь.

С. 65. Пасха. – Впервые: Руль. 1922. 16 апреля. Включено в Гроздь. Посвящение «На смерть отца» в С1979. Отец поэта В. Д. Набоков был

убит 28 марта 1922 г. в Берлине при покушении террористов–монархистов на П. Н. Милюкова. Стихотворение опубликовано в Пасху.

С. 66. Грибы. – Впервые: Руль. 1922. 19 ноября.

С. 67. «Ясноокий, как рыцарь из рати Христовой...» – Впервые: С1979.

С. 68. Волчонок. – Впервые: Наш мир (Берлин). 1925. № 1. 4 января.

С. 69. «Как объясню? Есть в памяти лучи...» – Впервые: С1979.

С. 71. «Если ветер судьбы, ради шутки...» – Впервые: Руль. 1921. 4 декабря. Без заглавия и с посвящением «В. Ш.». Автограф (без посвящения) в письме родителям из Кембриджа от 29 апреля 1921 г.

В. Ш. – Валентина Евгеньевна Шульгина (1900–1967), юношеская возлюбленная Набокова, которой посвящен его первый сборник «Стихи» 1916 г.; стала прототипом Машеньки из одноименного романа и Тамары из автобиографии. В. Е. Шульгина была дочерью мелкого чиновника и предпринимателя Евгения Константиновича Шульгина и Таисии Никаноровны Алексеевой («отец служил в другой губернии, у матери было отчество как в пьесе Островского» (Набоков V. С. 285–286)). Ее знакомство с Набоковым произошло в 1915 г. в Рождествено, где у Набоковых было имение, а Шульгины снимали дачу. По словам Эндрю Филда, в начале 1920–х в Берлине оказалась ее старшая сестра, сообщившая Набокову, что в 1921 г. Люся вышла замуж за комиссара Митрофана Константиновича Чернышева (1892–1936) (Field A. Nabokov: His Life in Part. Harmondsworth: Penguin Books, 1978. P. 103).

С. 72. Finis. – Впервые: С1979.

С. 73. «Я видел смерть твою, но праздную мольбой...» – Впервые: С1979.

С. 74. «Как затаю, что искони кочую...» – Впервые: С1979.

С. 75. Жемчуг. – Впервые: Медный всадник: Альманах (Берлин). 1923. Кн. 1.

С. 76. Сон. – Впервые: Русская мысль (Берлин). 1923. Кн. III–V.

С. 77. «В каком раю впервые прожурчали...» – Впервые: Медный всадник: Альманах. 1923. Кн. 1. Под заглавием «Через века».

При Августе из Рима / я выслал в Байи голого гонца... – Август (Октавиан Август; 63 до н. э. – 14 н. э.) – основатель римской империи. Байи – город на берегу Неаполитанского залива, богатый минеральными источниками; во времена расцвета Римской империи – излюбленное место отдыха аристократии.

...в неведомое Эльдorado / был генуэзским гением гоним. – Имеются в виду экспедиции Христофора Колумба (1451–1506), уроженца Генуи. Эльдorado – мифическая страна в Южной Америке, богатая золотом, которую искали многие путешественники.

...Калиостровой науки / мы оправданьем были... – Знаменитый авантюрист и маг граф Калиостро (1743–1795) утверждал, в частности, что обладает рецептом вечной молодости.

...в Термидоре одурелом... / ты в Кобленце так весело жила... – Речь идет о событиях контрреволюционного термидорианского переворота, низвергшего Робеспьера и сопровождавшегося гильотинированием якобинцев; Кобленц, западногерманский город, был в годы Французской революции центральным местом сбора эмигрантов–аристократов.

С. 79. «В кастальском переулке есть лавчонка...» – Впервые: С1979.

С. 81. «...И все, что было, все, что будет...» – Впервые: С1979.

С. 82. «Я где-то за городом, в поле...» – Впервые: Руль. 1923. 27 февраля.

С. 83. Трамвай. – Впервые: С1979.

С. 84. Письма. – Впервые: С1979.

С. 85. «День за днем, цветущий и летучий...» – Впервые: Медный всадник: Альманах. 1923. Кн.1. Под заглавием «Узор».

С. 86. Эфемеры. – Впервые: С1979.

Владимир Иванович Поль (1875–1962) – композитор, оккультист, йог, с которым Набоков познакомился в Крыму в 1918 г.

Эфемеры (от лат. *ephemerog* – однодневный, скоропреходящий). – В стихотворении обыгрывается представление некоторых мистических учений о том, что ангелы рождаются лишь на мгновение, чтобы пропеть хвалу Богу.

...Слава!.. Сила... – Ср. заключительные слова православной молитвы «Отче наш»: «Ибо Твое есть царство, и сила, и слава; аминь».

С. 88. «Ты всё глядишь из тучи темно-сизой...» – Впервые: Русская мысль. 1923. Кн. VI–VIII.

С. 89. «И утро будет: песни, песни...» – Впервые: Руль. 1923. 27 февраля.

С. 90. «Глаза прикрою – и мгновенно...» – Впервые: С1979.

Пенаты – в древнеримской мифологии покровители домашнего очага.

С. 91. «При луне, когда косую крышу...» – Впервые: Руль. 1924. 2 марта.

С. 92. «Бережно нес я к тебе это сердце прозрачное. Кто-то...» – Впервые: Руль. 1923. 6 мая. Под заглавием «Сердце». В составе четырехчастного цикла «Гексаметры» (со стихотворениями «Чудо», «Очки Иосифа», не включенными в С1979, и «Памяти Гумилева»).

С. 93. Памяти Гумилева. – Впервые: Руль. 1923. 6 мая. См. предыдущее примечание и примечание к стихотворению «Как любил я стихи Гумилева!». Фигура Гумилева и его гибель, как ее представлял себе Набоков, были для него образцом противостояния художника и тирании, составляющего тему нескольких его произведений, прежде всего романа «Приглашение на казнь» (1935–1936): «Одной из главных причин, по которой... ленинские бандиты казнили Гумилева, русского поэта–рыцаря, было то, что на протяжении всей расправы: в тусклом кабинете следователя, в застенке, в плутающих коридорах по дороге к грузовику, в грузовике, который привез его к месту казни, и в самом этом месте, где слышно было лишь шарканье неловкого и угрюмого расстрельного взвода, – поэт продолжал улыбаться» (Набоков В. Искусство литературы и здравый смысл / Пер. с англ. Г. М. Дашевского // Набоков В. Лекции по зарубежной литературе. М.: Независимая газета, 1998. С. 472). Ср. этот же мотив в стихотворении «Расстрел» («Небритый, смеющийся, бледный...»), не включенном в С1979.

С. 94. Родине. – Впервые: Руль. 1923. 8 апреля. Без посвящения. Стихотворение посвящено сестре поэта Елене Владимировне Сикорской, урожденной Набоковой (1906–2000), написано в день ее рождения, 31 марта.

С. 95. Река. – Впервые: Наш мир. 1924. № 26. 14 сентября. В форме стихотворения в прозе (*in continuo*), под заглавием «Русская река».

С. 99. «Когда я по лестнице алмазной...» – Впервые: Руль. 1923. 29 апреля.

...на ладони каждый изгиб / пахнет еще... чешуей иорданских рыб. – Апостол Петр до призвания его Иисусом был рыболовом.

С. 100. «В часы трудов счастливых и угрюмых...» – Впервые: С1979.

Гул дантовский в тебе я слышу, тополь... – Ср. в «Божественной комедии» Данте: «Уже вблизи я слышал гул тяжелый / Воды, спадавшей в следующий круг, / Как если бы гудели в ульях пчелы...» (Ад, песнь XVI, 1–3; пер. М. Л. Лозинского).

С. 101. «О, как ты рвешься в путь крылатый...» – Впервые: Русская мысль. 1923. Кн. VI–VIII.

С. 102. «Я странствую... Но как забыть? Свистящий...» – Впервые: С1979.

С. 103. «Нет, бытие – не зыбкая загадка!» – Впервые: С1979.

С. 104. Встреча. – Впервые: Руль. 1923. 24 июня. Эпиграф из стихотворения А. Блока «Незнакомка» (1906).

С. 106. Песня. – Впервые: Руль. 1923. 29 июля. В письме матери от 19 июня 1923 г. Набоков сообщает, что поводом для написания стихотворения была услышанная им запись романса «В твоих глазах, в твоих безумных ласках...» (Berg Collection). Речь идет о романсе «Резвился ликующий мир» (слова и муз. О. де Бове) из репертуара Вари

Паниной (1872–1911), известной исполнительницы русских и цыганских романсов.

...о небывалых соловьях. – Ср. в романсе «Резвился ликующий мир»: «Соловушка страстно рыдал / Далек, далеко в сирени».

С. 108. Прованс. – Впервые: Руль. 1923. 2 сентября. Первое стихотворение цикла («Как жадно, затая дыханье...») написано 15 июня 1923 г. Второе («Слоняюсь переулками без цели...») – 19 августа 1923 г.; включено в ВЧ под заглавием «Солнце».

С. 110. «Зовешь, – а в деревце гранатовом совенки...» – Впервые: С1979.

С. 111. «Как бледная заря, мой стих негромок...» – Впервые: С1979.

С. 112. «Ночь свищет, и пожары млечные...» – Впервые: С1979.

С. 113. «Я помню в плюшевой оправе...» – Впервые: С1979.

С. 114. ...заговорю ли – отвечаешь, / как бы доканчивая стих. – Ср. в письме Набокова от 3 декабря 1923 г. к будущей жене Вере Евсеевне Слоним (1902–1991): «Я люблю в тебе эту твою чудесную понятливость: словно у тебя в душе есть заранее уготовленное место для каждой моей мысли» (Berg Collection).

С. 115. «Санкт–Петербург – узорный иней...» – Впервые: С1979.

Мой Пушкин бледной ночью, летом, / сей отблеск объяснял своей / Олениной... – Вероятно, имеется в виду описание петербургской белой ночи в стихотворении Пушкина «Город пышный, город бедный...» (1828), посвященном А. Олениной: «Свод небес зелено–бледный».

С. 116. Гроза. – Впервые: Руль. 1923. 10 июня.

С. 117. Автобус. – Впервые: С1979.

С. 118. Барс. – Впервые: Руль. 1923. 10 мая.

С. 119. «Милая, нежная – этих старинных...» – Впервые: С1979.

С. 120. «Из мира уползли – и ноют на луне...» – Впервые: Жар–Птица (Берлин). 1923. № 11.

...ланнеровский вальс... <...> / Как были хороши... – Отсылка к стихотворению в прозе И. С. Тургенева «Как хороши, как свежи были розы...» (1879), где упоминается ланнеровский вальс (то есть вальс одного из создателей венского вальса австрийского композитора и музыканта Й. Ф. К. Ланнера (1801–1843)).

С. 121. «Я Индией невидимой владею...» – Впервые: Сегодня. 1923. 8 апреля. Под заглавием «Властелин».

С. 122. Видение. – Впервые: Руль. 1924. 27 января. Автограф в письме

В. Е. Слоним от 16 января 1924 г. с вариантом 12-й строки: «снегам чистейшим» (Berg Collection).

С. 123. Об ангелах. – Первое стихотворение цикла («Неземной рассвет блеском облил...») Впервые: Руть. 1924. 20 июля. Написано 24 апреля 1924 г. Второе («Представь: мы его встречаем...») впервые: С1979. Написано 8 июля 1924 г.

С. 125. Смерть. – Впервые: Руть. 1924. 18 июня. Автограф в письме матери от 13 июня 1924 г. (Berg Collection).

С. 126. Скитальцы. – Впервые: Руть. 1924. 2 марта.

С. 127. На рассвете. – Впервые: С1979.

С. 128. Гость. – Впервые: Руть. 1924. 6 июля. Включено в ВЧ. Написано 15 мая 1924 г. Традиционная тема Дон Жуана решена здесь в духе блоковских «Шагов Командора» (1912).

С. 130. Кубы. – Впервые: Наш мир. 1924. № 1. 23 марта. Написано 9 марта 1924 г.

С. 131. Стансы. – Впервые: Руть. 1924. 18 апреля. Написано 24 марта 1924 г.

С. 132. *La bonne Lorraine*. – Впервые: Руть. 1924. 16 сентября. Под заглавием «*La belle Lorraine*». Включено в ВЧ. Написано 6 сентября 1924 г.

La bonne Lorraine (фр.) – добрая Лотарингка; имеется в виду Жанна д'Арк, уроженка Лотарингии.

С. 133. Молитва. – Впервые: Руть. 1924. 24 августа. Написано 3 мая 1924 г.

С. 134. Стихи. – Впервые: Руть. 1924. 3 апреля. Без заглавия. Написано 9 марта 1924 г. В рукописи имело заглавие «Смех» (см.: *Nabokov's Butterflies: Unpublished and uncollected writings / Ed. and annot. by Brian Boyd and Robert Michael Pyle. Boston: Beacon Press, 2000. P. 111*).

С. 135. Санкт-Петербург. – Впервые: Руть. 1924. 1 июня. Написано 26 мая 1924 г.

Ко мне, туманная Леила! – Ср. в стихотворении А. С. Пушкина «Заклинание» (1830): «Я тень зову, я жду Леилы: / Ко мне, мой друг, сюда, сюда!»

След локтя / оставил на граните Пушкин. – Ср. в романе «Дар»: «...невский гранит, на котором едва уж различим след пушкинского локтя» (Набоков IV. С. 225). См также комментарий А. А. Долинина (там же. С. 648).

С. 136. Вечер. – Впервые: С1979.

С. 137. «Откуда прилетел? Каким ты дышишь горем?» – Впервые: Русское эхо. 1925. 4 января. Под заглавием «Демон». Написано 27 сентября 1924 г. Переведено на английский язык И. А. Бродским (Nabokov V. Demon / Transl. from the Russian by Joseph Brodsky // Kenyon Review (New Series). 1979. Vol. 1. № 1. Winter. P. 120). Бродский, впрочем, считал Набокова второсортным поэтом: «Но именно потому, что Набоков несостоявшийся поэт, – он замечательный прозаик» (цит. по: Волков Соломон. Диалоги с Иосифом Бродским. М.: Издательство «Независимая газета», 1998. С. 171). «В конечном счете его главная тема: раздвоенности, зеркальности бытия, отражения одной жизни в другой, эха и т. д. – есть не что иное, как разогнанный до гигантских масштабов принцип рифмы» (письмо И. А. Бродского от 8 августа 1983 г. Н. И. Артеменко–Толстой; цит. по: Маликова М. Э. Иосиф Бродский – переводчик Набокова // Русская литература. 2004. № 4. С. 192).

С. 138. Страна стихов. – Впервые: Руль. 1924. 7 декабря. Написано 26 октября 1924 г.

С. 139. Исход. – Впервые: Руль. 1924. 26 октября.

С. 141. Костер. – Впервые: Вестник Главного правления общества галлиполийцев (Белград). 1924. Т. 11. С. 7 (номер посвящен трехлетию созданного в 1921 г. Общества галлиполийцев и содержит посвященные этому юбилею патриотические произведения русских эмигрантских писателей, философов, общественных деятелей, в том числе И. А. Бунина, Б. К. Зайцева, Г. А. Ландау и др.). Написано 26 ноября 1924 г.

С. 142. Утро. – Впервые: С1979.

С. 143. В пещере. – Впервые: Наш мир. 1925. № 1. 4 января. Под заглавием «Овца».

С. 144. К родине. – Впервые: Руль. 1924. 25 декабря. Автограф в недатированном письме матери под заглавием «Родине» с вычеркнутыми впоследствии строфами: «Губы мне звездинкой огневой / тронул снег, порхавший над Невой» (после 4-й строфы); «И в глазах осталась – посмотри – / Тайна чистая твоей зари» (после 7-й строфы) (Berg Collection).

С. 145. Великан. – Впервые: Сегодня. 1924. 25 декабря.

С. 146. Шекспир. – Впервые: Жар–Птица. 1924. № 12. Автограф в письме матери от 26 февраля 1924 г.

С. 147. Брантом Пьер де Бурдейль (1540–1614) – мемуарист, хроникер придворной жизни времен Екатерины Медичи.

С. 148. Гаданье. – Впервые: Сегодня. 1924. 26 августа (этот вариант воспроизведен в С1979). Включено в ВЧ под заглавием «Святки», с вариантом 1-й строфы: «Под окнами полозья / пропели, – и воскрес / на святочном морозе / серебряный мой лес», без 5-й строфы и с вариантом последней строфы: «И огонек плавучий / потух, – и ты

исчез / за сумрачные тучи, / серебряный мой лес». Написано 27 июля 1924 г.

С. 150. Мать. – Впервые: Руль. 1925. 19 апреля. Включено в ВЧ и РР.

...лепивший воробьев / на солнцепеке, в Назарете. – Имеется в виду эпизод из апокрифического «Евангелия детства» («Евангелия Фомы»), в котором пятилетний Иисус, нарушив закон субботы, вылепил из глины воробьев. В ответ на упреки Иосифа «Иисус ударил в ладоши и закричал воробьям: Летите! и воробьи взлетели, щебеча» (Апокрифы древних христиан. М.: Мысль, 1989. С. 142).

С. 151. Герб. – Впервые: Русское эхо. 1925. 1 марта. Включено в РР. Автограф в письме матери от 24 января 1925 г. (Berg Collection).

С. 152. Конькобежец. – Впервые: Руль. 1925. 5 февраля.

С. 153. Весна. – Впервые: Руль. 1925. 10 мая. Включено в ВЧ. Написано 2 мая 1925 г.

С. 155. Берлинская весна. – (I) «Нищетою необычной...» Впервые: Руль. 1925. 24 мая. Написано 14 мая 1925 г. (II) «Когда весеннее мечтанье...» Впервые: С1979.

С. 157. Сон. – Впервые: Руль. 1925. 30 июня.

С. 158. Воскресение мертвых. – Впервые: Возрождение (Париж). 1925. 19 июля.

С. 159. Крушение. – Впервые: Руль. 1925. 16 августа. Включено в ВЧ.

С. 161. Тень. – Впервые: Руль. 1925. 13 сентября. Включено в ВЧ. Написано 3 сентября 1925 г. Автограф в письме матери от 6 сентября 1925 г.: «Посылаю тебе стихи, сочиненные в Säckingen'e, где действительно на площади, ночью, давал представление бродячий цирк» (Berg Collection).

С. 163. Вершина. – Впервые: Руль. 1925. 19 сентября. Без заглавия. Включено в РР. Написано 31 августа 1925 г. Автографы – в письмах матери и жене от 31 августа 1925 г., в последнем приписка: «Шура (Александр Зак, ученик Набокова. – М. М.) предлагает назвать эти стихи: Что я подумал, гуляя 31-VIII-25 по Шварцвальду и встретив знакомое растение...» (Berg Collection).

С. 164. Электричество. – Впервые: С1979.

Не те, угрозой священной / явившиеся письма, / что сладость отняли мгновенно / у вавилонского вина. – Согласно библейскому преданию, огненные письма – «Мене, текел, фарес» – были начертаны невидимой рукой во время пира вавилонского царя Валтасара (см. об этом: Дан. 5: 26–28).

С. 166. Прохожий с елкой. – Впервые: Руль. 1925. 25 декабря. Включено в ВЧ.

С. 167. Лыжный прыжок. – Впервые: Руль. 1926. 24 января.

С. 168. *Ut pictura poesis*. – Впервые: Руль. 1926. 25 апреля.
Написано 25 апреля 1926 г.

Ut pictura poesis (лат.) – букв. «живописи подобна поэзия», максима, восходящая к «Науке поэзии» Горация (в переводе М. Л. Гаспарова: «Общее есть у стихов и картин»).

Добужинский Мстислав Валерианович (1875–1957) – художник круга «Мира искусства», дававший юному Набокову частные уроки живописи в 1912–1914 гг., о которых писатель вспоминает в 4-й главе автобиографии «Другие берега» (Набоков V. С. 199); в эмиграции их знакомство возобновилось (см.: Переписка Владимира Набокова с М. В. Добужинским / Публ., вступ. заметка и прим. В. П. Старка // Звезда. 1996. № 11. С. 92–108). Стихотворение написано после посещения в апреле 1926 г. берлинской выставки Добужинского, на которой были представлены виды Петербурга: «Я был на выставке Добужинского, – писал Набоков матери 23 апреля 1926 г., – все очень тонко, очень благородно. Написал стихотворенье ему, но, по-моему, неудачное...» (Berg Collection).

С. 169. «Пустяк – название мачты, план – и следом...» – Впервые: Звено. 1926. 4 июля. Автограф в письме жене от 18 июня 1926 г. из Шварцвальда, куда Набоков сопровождал своего ученика А. Зака: «... Утром под неизменным дождем (который начинает меня выводить из себя) я потек к Заку, по дороге сочинял стихи, которые вчера перед сном начал и сегодня – только что окончил. <...> Я поплелся домой, наполовину ошеломленный потугами моей музыки. Ужинал, – и тут потуги разрешились и я полностью написал стихотворенье» (Berg Collection).

С. 170. Комната. – Впервые: Руль. 1926. 11 июля. Включено в ВЧ.
Автограф в письме жене от 22 июня 1926 г. (Berg Collection).

С. 172. Аэроплан. – Впервые: Руль. 1926. 25 июля. Включено в ВЧ с вариантом 8-й строки: «чуден гул его небесный» (в С1979 воспроизведен газетный вариант). Автограф в письме жене от 5 июля 1926 г. с вариантом 10–11-й строк: «И под липой, у решетки / банка запертого, кроткий / слушает слепой», исправленном в письме от 11 июля (Berg Collection).

С. 173. Сны. – Впервые: Руль. 1926. 8 августа. Включено в ВЧ.
Написано 22 июля 1926 г.

С. 174. Прелестная пора. – Впервые: Руль. 1926. 17 октября. Включено в ВЧ.

Бикс (от нем. *Bückspiel*) – биковый, или китайский, бильярд, в который играют на наклонной доске или столе, по которому шар после удара сбегает обратно.

С. 175. Годовщина. – Впервые: Руль. 1926. 7 ноября. Включено в ВЧ.

С. 177. Снимок. – Впервые: Руль. 1927. 28 августа. Включено в ВЧ и РР. Написано 20 августа 1927 г.

С. 178. В раю. – Впервые: Руль. 1918. 18 марта. Под заглавием «К душе». Включено в ВЧ и РР. Написано 25 сентября 1927 г.

С. 179. Расстрел. – Впервые: ВЧ. Включено в РР.

С. 180. Паломник. – Впервые: Руль. 1927. 13 февраля. Включено в ВЧ с посвящением Ю. И. Айхенвальду и разбивкой на строфы. В С1979 воспроизведен текст первой публикации. Написано 4 февраля 1927 г.

С. 182. Сновиденье. – Впервые: Руль. 1927. 1 мая. Включено в ВЧ и РР.

С. 184. Билет. – Впервые: Руль. 1927. 26 июня. Написано 14 мая 1927 г. С сокращениями перепечатано в московской газете «Правда» (1927. 15 июля) в сопровождении ответа Демьяна Бедного «Билет на тот свет»: «Что ж? Вы вольны в Берлине „фантазирен“. / Но чтоб разжать советские тиски, / Вам – и тебе, поэтик белый, Сирин! / Придется ждать... до гробовой доски!» Об этой перепечатке Набокову стало известно (см.: Друзья, бабочки и монстры: Из переписки Владимира и Веры Набоковых и Романа Гринберга (1940–1967) / Публ., предисл. и ком. Р. Янгирова // Диаспора: Новые материалы (I). СПб.; Париж: Феникс–Athenaeum, 2001. С. 537).

С. 185. Родина. – Впервые: Руль. 1927. 15 июня. Написано 4 июня 1927 г. ко дню русской культуры в Берлине (празднование которого было приурочено в эмиграции ко дню рождения А. С. Пушкина, 6 июня) и выпущено отдельным изданием (8 июня 1927 г.).

Изгнание, где твое жало, / чужбина, где сила твоя? – Парафраз из Нового Завета: «Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?» (1-е Кор. 15: 55).

С. 186. Кинематограф. – Впервые: Руль. 1928. 25 ноября. Написано 10 ноября 1928 г.

С. 188. От счастья влюбленному не спится. – Впервые: Руль. 1928. 14 июня. Включено в ВЧ и РР. Написано 18 мая 1928 г.

С. 189. Лилит. – Впервые: РР.

Лилит – первая жена Адама, ставшая демоном.

Явор – клен белый.

С. 192. Расстрел. – Впервые: Руль. 1928. 8 января. Автограф в письме матери от 7 июня 1927 г.: «Завтра „день культуры“. Посылаю тебе стихотворенье...» (Berg Collection); приурочено к эмигрантскому дню русской культуры (см. примеч. к стихотворению «Родина»).

С. 193. Острова. – Впервые: Руль. 1928. 25 марта.

С. 194. Кирпичи. – Впервые: Руль. 1928. 1 апреля. Включено в ВЧ.

С. 196. Сирень. – Впервые: Руль. 1928. 13 мая. Включено в ВЧ.
Написано 7 мая 1928 г.

С. 197. К России. – Впервые: Руль. 1928. 1 июля. Написано 23 июня 1928 г.

С. 198. Стансы о коне. – Впервые: Руль. 1929. 2 февраля. Написано 26 ноября 1928 г.

...окрыленных / Наполеоновых коней. – Возможно, имеются в виду скульптуры пегасов на мосту Александра III в Париже; этих крылатых коней Набоков мог назвать Наполеоновыми потому, что мост подходит к Дому инвалидов, где находится могила Наполеона.

С. 199. «Для странствия ночного мне не надо...» – Впервые: Руль. 1929. 11 августа. Написано 20 июля 1929 г.

Поздний пешеход... / воображение клянет. – Возможно, реминисценция «Петербургских строф» (1913) О. Мандельштама: «Самолюбивый, скромный пешеход – / Чудак Евгений – бедности стыдится, / Бензин вдыхает и судьбу клянет!» В «Даре» (английском переводе, сделанном автором совместно с М. Скаммелом) Набоков определяет отсылкой к Мандельштаму всю акмеистическую традицию петербургской литературы: вместо оригинального «снежок на торцах акмеизма» (Набоков IV. С. 225) – «торцы мандельштамовского неоклассицизма» (см. также неопубликованную рецензию Набокова 1924 г., в которой говорится о Мандельштаме, в ком. А. Долинина: Набоков IV. С. 647).

С. 200. К музе. – Впервые: Руль. 1929. 24 сентября. Включено в С1952 и РР. Написано 13 сентября 1929 г.

Теперь не то. <...> / Мне не под силу многие труды, / особенно тщеславия заботы. / Я опытен, я скуп и нетерпим. – Возможно, реминисценция двух «Стансов» В. Ходасевича, «Уж тяжелы мне долгие труды...» (1918) и «Я стал умен, суров и скуп» (1922) (см.: Левин Ю. И. Избранные труды. Поэтика. Семиотика. М.: Школа «Языки русской культуры», 1998. С. 267, примеч. 22). Набоков считал Ходасевича «крупнейшим поэтом нашего времени, литературным потомком Пушкина по тютчевской линии» (Сирин В. О Ходасевиче // Современные записки. 1939. Кн. 69; цит. по: Набоков IV. С. 587), подробнее см. комментарий Г. Б. Глушанок: Набоков IV. С. 780–783.

С. 201. Тихий шум. – Впервые: Руль. 1926. 10 июня. Включено в ВЧ. Автограф в письме жене от 7 июня 1926 г. с подробным описанием процесса сочинения стихотворения: «...вчера около девяти я вышел пройтись, чувствуя во всем теле то грозное напряжение, которое является предвестником стихов. Вернувшись в десять домой, я как бы уполз в себя, пошарил, помучился и вылез ни с чем. Я потужил, и вдруг промелькнул образ – комнатка в тулонской плохонькой гостинице, бархатно-черная глубина окна, открытого в ночь, и где-то далеко за темнотой – шипенье моря, словно кто-то медленно втягивает и выпускает воздух сквозь зубы. Одновременно я вспомнил дождь, что

недавно вечером так хорошо шелестел во дворе, пока я тебе писал. Я почувствовал, что будут стихи о тихом шуме, – но тут у меня голова затуманилась усталостью, и, чтобы заснуть, я стал думать о теннисе, представлять себе, что играю. Погодя, я снова зажег свет, прошлепал в клозетик. Там вода долго хлюпает и свиритит после того, как потянешь. И вот, вернувшись в постель, под этот тихий шум в трубе – сопровождаемый воспоминаньем – ощущеньем черного окна в Тулоне и недавнего дождя, я сочинил две строфы в прилагаемом стихотворении – вторую и третью: первая из них выкарабкалась почти сразу, целиком, вторую я теребил дольше, несколько раз оставляя ее, чтобы подравнять уголки или подумать об еще неизвестных, но ощутимых остальных строфах. Сочинив эту вторую и третью, я успокоился и заснул – а утром, когда проснулся, почувствовал, что доволен ими, – и сразу принялся сочинять дальше. Когда в половину первого я отправился к Каплан (мадам) на урок, то четвертая, шестая и отчасти седьмая были готовы, – и в этом месте я ощутил то удивительное, необъяснимое, что, может быть, приятнее всего во время творчества, а именно – точную меру стихотворения, сколько в нем будет всего строф; я знал теперь – хотя может быть, за мгновение до того не знал, – что этих строф будет восемь и что в последней будет другое расположение рифм. Я сочинял на улице и потом за обедом... и после обеда, до того, как поехал к Заку (в три часа). Шел дождь... и в трамвае сочинил стихотворенье до конца в такой последовательности: восьмая, пятая, первая. Первую я докончил в ту минуту, как открывал калитку. С Шурой играл в мяч, потом читали Уэллза под страшные раскаты грома: чудная разразилась гроза – словно в согласии с моим освобождением...» (Berg Collection). Это стихотворение Набоков с успехом читал 8 июня в Берлине на праздновании дня русской культуры (см.: Руль. 1926. 10 июня).

С. 203. Облака. – Впервые: С1979.

С. 204. «Перешел ты в новое жилище...» – Впервые: С1979.

Айхенвальд Юлий Исаевич (1872–1928) – литературный критик; в своих литературных заметках в берлинской газете «Руль» с симпатией писал о творчестве Набокова; тот посвятил ему почтительную эпиграмму: «Он свысока не судит ничего, – / Любитель слов, любовник слова. / Стих Пушкина есть в имени его: / „Широкошумная дуброва“...» (в письме жене от 5 июля 1926 г.; Berg Collection; см. также письмо Айхенвальда Вере и Владимиру Набоковым 1927 г.: Наше наследие. 1988. № 2. С. 112–113 / Публ. С. В. Шумихина). Айхенвальд погиб 17 декабря 1928 г. в результате несчастного случая, попав под трамвай (см. некролог «Памяти Ю. И. Айхенвальда», опубликованный Набоковым в газете «Руль» 23 декабря 1928 г.: Набоков II. С. 667–668).

С. 205. «Вздохнуть поглубже и, до плеч...» – Впервые: С1979.

С. 206. Воздушный остров. – Впервые: Россия и славянство (Париж). 1930. 19 апреля. Написано в августе 1929 г.

С. 208. «Шел поезд между скал в ущелии глубококом...» – Впервые: С1979.

С. 209. Представление. – Впервые: Россия и славянство. 1930. 25

октября. Написано 6 октября 1930 г.

С. 210. Снег. – Впервые: Руль. 1930. 7 февраля. Включено в РР.

С. 211. Будущему читателю. – Впервые: Руль. 1930. 7 февраля. Под заглавием «Неродившемуся читателю».

С. 212. Первая любовь. – Впервые: Россия и славянство. 1930. 19 апреля. Написано 12 февраля 1930 г.

С. 213. Ульдаборг. – Впервые: Руль. 1930. 4 мая. Написано в апреле 1930 г. Антиутопический мотив северной страны Зоорландии также использован Набоковым в романе «Подвиг» (1932) и рассказе «Истребление тиранов» (1938).

С. 214. ...и со смехом на плаху взойду. – См. примеч. к стихотворению «Памяти Гумилева».

С. 215. Окно. – Впервые: Неделя (Париж). 1930. 5 мая.

С. 216. Из Калмбрудовой поэмы «Ночное путешествие». – Впервые: Руль. 1931. 5 июля. Написано 1 июля 1931 г. Набоков прочел этот перевод-мистификацию в берлинском Клубе поэтов, предварив чтение сведениями из биографии вымышленного им английского поэта Вивиана Калмбруда (см.: Бойд Б. Владимир Набоков: русские годы: Биография / Пер. с англ. М.: Независимая газета; СПб.: Симпозиум, 2001. С. 434).

Vivian Calmbrood – анаграмма Vladimir Nabokov; под этим псевдонимом опубликована также набоковская драма в стихах «Скитальцы» (1923).

С. 218. ...как за крапленую статью / побили Джонсона шандалом? – Намек на одиозную статью Г. Иванова (Джонсон – английский эквивалент фамилии Иванов) о Сирине (Числа.1930. № 1), содержащую личные оскорбления: «самозванец, кухаркин сын, черная кость, смерд» (о вызванной ею «литературной войне» см.: Янгиров Р. «Пример тавтологии»: Заметки о войне Владимира Набокова с Георгием Ивановым // Диаспора: Новые материалы. Вып. 7. Париж; СПб., 2005. С. 594–618). В 1931 г. Набоков также написал в альбом Ходасевичу и активно распространял среди своих эмигрантских знакомых эпиграмму на Г. Иванова: «– Такого нет мошенника второго / Во всей семье журнальных шулеров! / – Кого ты так? – Иванова, Петрова, / Не всё ль равно? – Позволь, а кто ж Петров?» (цит. по: Набоков В. В. Стихотворения / Подг. текста, сост., вступ. статья и примеч. М. Э. Маликовой. СПб.: Академический проект, 2002. С. 512 (Новая библиотека поэта)).

К иному критику в немилость / я попадаю оттого... – сатира на Георгия Владимировича Адамовича (1894–1972), известного эмигрантского критика и поэта, идеолога «парижской ноты» и журнала «Числа»; Адамович регулярно выступал с отзывами на произведения Сирина (в основном они собраны в сб.: Классик без ретуши. Литературный мир о творчестве Набокова: Критические отзывы, эссе, пародии / Под общ. ред. Н. Г. Мельникова. М.: Новое литературное обозрение, 2000; подробнее об эволюции обоюдоострых отношений Адамовича и Набокова

см.: Долинин А. А. Плата за проезд (Беглые заметки о генезисе некоторых литературных заметок Набокова) // Долинин А. А. Истинная жизнь писателя Сирина: Работы о Набокове. СПб.: Академический проект, 2004. С. 268–278). Стихи Адамовича Набоков называл «совершенно никчемными», признавая, однако, что их автор «тонкий, подчас блестящий литературный критик» (Сирин В. «Современные записки». XXXVII // Руль. 1929. 30 января; цит. по: Набоков И. С. 671).

...чувствительное кумовство... – Возможно, намек на историю, высмеянную Набоковым в рассказе «Уста к устам» (Набоков работал над ним в 1929–1931 гг., впервые опубликован в 1956 г.), связанную с публикацией в «Числах» отрывков из романа предпринимателя и писателя-дилетанта Александра Бурова (А. П. Бурд–Восходова) «Была земля» и положительных рецензий на его произведения, вызванных надеждами редакции журнала на его финансовую поддержку (см. подробнее в ком. О. Сконечной: Набоков V. С. 724–725).

С. 219. ...клонится к могильной яме / адамовою головой. /...поэты много / о смерти ныне говорят... / Ущерб, закат... Петроний новый... – Здесь, как позже в образе критика Христофора Мортуса в «Даре», Набоков обыгрывает значение фамилии Адамовича, связывая его с названием бабочки «Мертвая голова», или «Адамова голова» (впервые отмечено в ком. Д. Мальмстада в: Переписка В. Ф. Ходасевича (1925–1938) / Публ. и ком. Д. Мальмстада // Минувшее: Исторический альманах. Вып. 3. Paris: Athenaeum, 1987. С. 286), и ассоциированное Набоковым с известной одержимостью «парижской ноты» темой смерти (ср. в статье Г. П. Федотова «О смерти, культуре и „Числах“» уподобление «похоронных настроений» числовцев языческой резиньяции по отношению к смерти: «...смерть, усыпляющая любовница, la belle dame sans merci, Петроний, открывающий жилы в благовоющей ванне...» (Числа. 1930–1931. Кн. 4. С. 146).

С. 220. Смотрит он / и отвечает: «Я – Ченстон». – Подчеркивая иронический и мистификационный характер своего произведения, Набоков отсылает здесь к пушкинской трагедии «Скупой рыцарь» (1836), опубликованной с мистифицирующим читателя подзаголовком «Из Ченстоновой трагикомедии „The Covetous Knight“», и к снижающему финалу романтической сцены святочного гадания в «Евгении Онегине»: «Как ваше имя? Смотрит он / И отвечает: Агафон» (5, IX).

С. 221. Формула. – Впервые: Руль. 1931. 5 апреля. Включено в РР.

Алембик – стеклянный перегонный куб, один из приборов алхимика.

С. 222. Помплимусу. – Впервые: Современные записки (Париж). 1931. Кн. 47.

Помплимус (помпельмос; от нидерл. pompeelmoes) – то же, что помело.

...Миньону соблазняет апельсин... – Миньона, героиня повести И.–В. Гёте «Вильгельм Мейстер» (1795), поет песню «Ты знаешь край лимонных рощ в цвету, / где пурпур королька прильнул к листу...» (пер. Б. Л. Пастернака; королек – красный апельсин).

С. 223. Неоконченный черновик. – Впервые: РР. Написано 1 июля 1931 г.

С. 224. Вечер на пустыре. – Впервые: Последние новости (Париж). 1932. 31 июля. Без заглавия. Включено в С1952, РР. Посвящение «Владимиру Дмитриевичу Набокову», отцу поэта, появляется в РР. В издании С1979 посвящение ошибочно отнесено к следующему стихотворению. Это одно из стихотворений Набокова, подтверждающих позднее утверждение Адамовича, что Набоков – «единственный в эмиграции подлинный поэт, который учился и чему-то научился у Пастернака» (Адамович Г. В. Одиночество и свобода. СПб.: Алетейя, 2002. С. 218).

С. 227. «Сам треугольный, двукрылый, безногий...» – Впервые: Последние новости. 1932. 8 сентября. Написано 2 сентября 1932 г.

С. 228. Безумец. – Впервые: Последние новости. 1933. 29 января. Включено в РР.

...из лапы льва не извлекал занозы. – Согласно легенде, святой Иероним извлек занозу из лапы льва, после чего тот стал его верным спутником (такая же легенда связана с именем святого Герасима). Возможно, здесь имеется в виду то обстоятельство, что святой Иероним, переведший Библию на латинский язык, считается небесным покровителем переводчиков, – иначе говоря, набоковский надменный поэт-безумец не опускался до переводов.

Вдруг снег пошел; гляжу, а это розы. – Возможно, отсылка к сборнику стихотворений «Черное и голубое» (1931) ценимого Набоковым поэтом Антонина Ладинского (1896–1961), где регулярно встречается сочетание роз и мороза, севера, снега: «...розы Ладинского связаны... с морозом, с ледяными стеклами северных стран. <...> Недаром Ладинский замечает, что „к морозу рифма роза с Державинских времен“» (Сирин В. Молодые поэты // Руль. 1931. 28 января; цит. по: Набоков III. С. 689).

С. 230. Как я люблю тебя. – Впервые: Последние новости. 1934. 3 мая. Без заглавия и последних двух строк (последняя строка «пластом на зелени ствола»). Включено в С1952, РР. Написано 17 апреля 1934 г. В предуведомлении к публичному чтению 1949 г. Набоков пояснил, что это стихотворение, «состоящее из нескольких легкоцепленных частей, обращено сначала как бы к двойнику-поэту, рвущемуся на родину, в какую-то несуществующую Россию, вон из той гнусной Германии, где я тогда прозябал. Окончание относится уже прямо к родине» (Стихи и комментарии. С. 80). Г. Адамович отметил сильное влияние Пастернака: «Здесь перенято все: и приемы, и интонация, эти строки кажутся выпавшими из „Второго рождения“ или из „Поверх барьеров“» (Адамович Г. Одиночество и свобода. С. 221).

Над краснощеками рабами... – В неопубликованной статье 1940 г. «Определения» Набоков связал этот образ с любым строем, в основе которого лежит насильственное уравнивание людей: «Мы сейчас присутствуем при том, как смысл дежурных слов – нацизм, коммунизм, демократия – определяется уже не древними идеалами, породившими

данные слова, а степень способности того или другого правительства поголовно превращать население в краснощеких рабов» (цит. по: Звезда. 2013. № 9 / Публ. А. Бабикова).

С. 232. *L'Inconnue de la Seine*. – Впервые: Последние новости. 1934. 28 июня. Без заглавия, с подзаголовком «Из Ф. Г. Ч.», то есть, вероятно, из стихов Федора Годунова–Чердынцева, протагониста романа «Дар», над которым Набоков тогда начал работать. Включено в С1952, РР.

L'Inconnue de la Seine – Незнакомка из Сены (фр.), маска загадочно улыбающейся мертвой девушки (по легенде, утонувшей в Сене в 1880–х гг.); в начале XX в. ее многочисленные копии стали модным элементом богемных интерьеров; в рассказе «Тяжелый дым» (1935) Набоков называет ее «неизбежной».

С. 234. На закате. – Впервые: С1952. Без заглавия. Включено в РР.

С. 235. «Иосиф Красный, – не Иосиф...» – Впервые: С1979. Поводом к написанию стихотворения в 1937 г., вероятно, послужили слухи о том, что муж М. И. Цветаевой (которую Набоков в «Speak, Memory» назвал «гениальным поэтом») С. А. Эфрон – агент НКВД. Стихотворение пародирует рваную ритмику, изобилие анжамбеманов и курсивов, экзальтированную интонацию поэзии Цветаевой.

Упоминание Чарльза Линдберга, американского летчика, совершившего в 1927 г. первый беспосадочный перелет через Атлантический океан, отсылает, вероятно, к вдохновленной этим событием «Поэме Воздуха» (1927) Цветаевой, время написания которой обозначено как «в дни Линдберга».

С. 236. Мы с тобой так верили. – Впервые: С1952. Включено в РР. Вошло в антологию русской зарубежной поэзии «На Западе», составленную Ю. П. Иваском (Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1953). В примечании к публичному чтению 1949 г. Набоков сказал, что это стихотворение одно из тех, что «все еще отвечают моим сегодняшним требованиям» и что оно пришлось по вкусу И. В. Гессену (Стихи и комментарии. С. 80). Автограф, датированный «I–39», был послан Набоковым И. В. Гессену за подписью «Василий Шишков», под которой через несколько месяцев были опубликованы стихотворения «Поэты» и «Отвяжись, я тебя умоляю...» (см. примеч. к ним и вступ. статью).

С. 237. Что за ночь с памятью случилось. – Впервые: С1952. Включено в РР.

С. 238. Поэты. – Впервые: Современные записки. 1939. Кн. 69. Под псевдонимом Василий Шишков. Включено в С1952 и РР. Стихотворение было высоко оценено Г. Адамовичем, который принял Шишкова за реального ранее неизвестного поэта: «В „Поэтах“ Шишкова талантлива каждая строчка, каждое слово, убедителен широкий их напев, и всюду

разбросаны те находки – то неожиданный и верный эпитет, то неожиданное и сразу прельщающее повторение, которые никаким опытом заменить нельзя» (Адамович Г. «Современные Записки». Кн. 69–я. Часть литературная // Последние новости. 1939. 17 августа). По позднейшему (впервые озвученному в 1949 г.) утверждению Набокова, стихотворение с самого начала имело своей целью «поймать в ловушку почтенного критика (Г. Адамович. Последние новости), который автоматически выражал недовольство по поводу всего, что я писал. Уловка удалась: в своем недельном отчете он с таким энтузиазмом приветствовал появление „таинственного нового поэта“, что я не мог удержаться от того, чтобы продлить шутку, описав мои встречи с несуществующим Шишковым в рассказе, в котором, среди прочего изюма, был критический разбор самого стихотворения и похвал Адамовича» (С1979. С. 319–320). Утверждение это не совсем точно: в сентябре в газете «Последние новости» действительно был помещен рассказ Сирина «Василий Шишков», в котором описывалась встреча повествователя с молодым поэтом Василием Шишковым, среди стихотворных строчек которого была одна из стихотворения «Поэты», в целом же рассказ был посвящен тому, чтобы снабдить фигуру Шишкова биографической и поэтической генеалогией молодого эмигрантского поэта, дополнявшей связанную с «парижской нотой» поэтику стихотворения «Поэты», а именно амальгамой элементов, взятых от нескольких прототипов – В. Корвин-Пиотровского, Б. Поплавского, Н. Гронского (подробнее см. во вступ. статье наст. изд., также: Маликова М. Э. Фантомный парижский поэт Василий Шишков // Русская литература. 2013. № 1. С. 191–210). После выхода рассказа Адамович, по довольно точному описанию Набокова, «в своем неуклюжем, но задиристом ответе усомнился в том, что стихотворение было подделкой, добавив, впрочем, что Сирин, судя по всему, достаточно изобретателен, чтобы подделать вдохновение и одаренность, намного превосходящие его, Сирина, возможности» (цит. по: Набоков Владимир. Убедительное доказательство (Последняя глава из книги воспоминаний) / Пер. с англ. С. Ильина // Иностранная литература. 1999. № 12; ср.: Адамович Г. Литературные заметки: 0 «вечных спутниках» – Россия и советская литература – Василий Шишков // Последние новости. 1939. 22 сентября).

С. 240. К России. – Впервые: Современные записки. 1940. Кн. 70., под заглавием «Обращение» и под псевдонимом Василий Шишков (см. примеч. к предыдущему стихотворению). Включено в С1952 и РР. Написано 16 сентября 1939 г. По словам Набокова, это стихотворение, вызванное «известным пакостным пактом между двумя тоталитарными чудовищами» (то есть пактом Молотова – Риббентропа 23 августа 1939 г.), оказалось последним из его «многочисленных обращений к отечеству» (Стихи и комментарии. С. 82).

...сквозь траву двух несмежных могил... – По словам З. Шаховской, эта фраза, отсылающая к тому обстоятельству, что отец и мать Набокова похоронены на разных кладбищах (отец, убитый в 1922 г., – в Тегеле под Берлином; мать, умершая в 1939 г., – в Праге, на Ольшанском кладбище), служит порукой того, что это стихотворение написано не только ради мистификации (Шаховская З. В поисках Набокова. Отражения. М.: Книга, 1991. С. 34).

С. 241. Око. – Впервые: РР. Ср. мотив освобождения человека из оков

плоти и превращения в одно сплошное око в рассуждениях вымышленного Набоковым французского философа Пьера Делаланда в «Даре»: «Наиболее доступный для наших домоседных чувств образ будущего постижения окрестности, долженствующей раскрыться нам по распаде тела, это – освобождение духа из глазниц плоти и превращение наше в одно свободное сплошное око, зараз видящее все стороны света, или, иначе говоря: сверхчувственное прозрение мира при нашем внутреннем участии» (Набоков IV. С. 484).

С. 242. Слава. – Впервые: Новый журнал (Нью-Йорк). 1942. Кн. 3. Включена в С1952 и РР. В этой поэме, по словам Набокова, «некий дьявол, похожий на восковую фигуру, соблазняет свободного поэта всякими вещественными наградами» (Стихи и комментарии. С. 86). Г. Адамович заметил, что здесь «все прельщающее и все смущающее, что есть в Набокове, сплелось с некую причудливую симфонию» (Адамович Г. Одиночество и свобода. С. 223).

С. 246. «Вот это мы зовем луной». – Впервые: С1979.

С. 247. Парижская поэма. – Впервые: Новый журнал. 1944. Кн. 47. Включено в С1952 и РР. По словам Набокова, это «туманное» стихотворение «станет яснее, если иметь в виду, что вступительные его строки передают попытку поэта, изображенного в этих стихах, преодолеть то хаотическое, нечленораздельное волнение, когда в сознании брезжит только ритм будущего создания, а не прямой его смысл» (Стихи и комментарии. С. 82).

С. 252. Каким бы полотном. – Впервые: Социалистический вестник (Нью-Йорк). 1944. № 5/6. 17 марта. В финале политической статьи Г. Аронсона «О „внутренней эволюции“ СССР» без указания авторства. Включено в С1952 и РР. Стихотворение написано по просьбе С. Ю. Прегель, издательницы журнала «Новоселье» (см. письмо Набокова Прегель от 2 апреля 1943 г.: Из архива С. Ю. Прегель / Публ. Ю. Гаухман // Евреи в культуре русского Зарубежья. Иерусалим, 1995. Т. 4. С. 281). Набоков описал историю создания стихотворения следующим образом: «...по какому-то странному совокуплению разнородных мыслей, военная слава России послужила для некоторых архибуржуазных кругов поводом к примирению с ее режимом. Один литературный журнал, который специализировался на этом патриотическом трепете, обратился ко мне с просьбой сотрудничать и получил от меня следующую, довольно неожиданную для него, лепту» (Стихи и комментарии. С. 86). По словам Набокова, этот его стихотворный экспромт «„тайно“ циркулировал в списках и списках списков среди русских социалистов окружения Керенского, давая им изысканное, давно утраченное возбуждение от распространения „запрещенных стихов“, как бывало при царизме» и был без его ведома опубликован в «Социалистическом вестнике», журнале РСДРП, основанном Л. Мартовым: «Тут есть два очаровательных обстоятельства: 1) такие благородные гражданственные стихи являются общественной собственностью, и 2) имя поэта не открывается, потому что иначе он будет сослан в Сибирь (или на Лабрадор) – президентом Рузвельтом» (письмо Набокова Э. Уилсону от 5 апреля 1943 г. // The Nabokov-Wilson Letters. Correspondence Between Vladimir Nabokov and Edmund Wilson, 1941–1971 / Ed., annot. and with an introductory essay by Simon Karlinsky. New York: Harper and Row, 1979. P. 132).

С. 253. О правителях. – Впервые: Новый журнал. 1945. Кн. 10. Включено в С1952 и РР, в антологию «На Западе». По определению автора, это стихотворение «откровенно гражданского пошиба», в нем «намечена пародия на манеру покойного Владимира Маяковского. <...> В этом стихотворении ясно выражается раздражение, вызванное низкопоклонничеством перед громовержцами» (Стихи и комментарии. С. 85), – речь идет о просталинских настроениях в Америке, особенно среди левой интеллигенции, в связи с победой во Второй мировой войне.

С. 255...«переперчил»... – Имеется в виду, вероятно, не только имя Черчилля, но и слова из предсмертной записки Маяковского «инцидент исперчен».

С. 256. К кн. С. М. Качурину. – Впервые: Новый журнал. 1947. Кн. 15. Включено в С1952 и РР, в антологию «На Западе». Авторское примечание к стихотворению в С1979 мистифицирует читателя. В комментарии к английскому переводу стихотворения, сделанному Набоковым для Э. Уилсона, автор признается, что Качурин «не существует, но читатель должен принять его за старого приятеля автора – наподобие той звучной апострофирующей интонации, какую в своих стихах придавал именам друзей Пушкин» (цит. по: Barabtarlo G. Aerial Views. Essays on Nabokov's Art and Metaphysics. New York: Peter Lang, 1993. P. 264).

С. 257. ...в шестидесяти девяти / верстах от города... – На таком расстоянии от Петербурга (по дороге на Лугу) находятся набоковско-рукавишниковские имения в Рождествено и Выре.

С. 259. ...чтоб в Матагордовом Ущелье... – Авторское примечание: «Иными словами, отправляюсь в Америку напрямик из детства и романов о Диком Западе, которые я тогда любил» (там же. P. 268). Имеется в виду роман Т. Майн Рида «Всадник без головы», действие которого происходит в Техасе на берегу залива Матагорда.

С. 260. Neuralgia intercostalis. – Впервые: С1979.

С. 261. Был день как день. – Впервые: Новое русское слово. 1951. 20 мая (установлено А. А. Долининым; см. его статью «К литературной биографии В. В. Набокова (по архивным материалам)»: *Natales grate pumegas?*: Сб. статей к 60-летию Георгия Ахилловича Левинтона. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2008. С. 234–235). Включено в С1952, РР, «На Западе».

С. 262. Неправильные ямбы. – Впервые: Опыты (Нью-Йорк). 1953. Кн. 1. Без разбивки на строфы. Включено в РР. Автограф в недатированном (до 5 октября 1952 г.) письме редактору журнала «Опыты» Р. Гринбергу («Дребезжание моих ржавых русских струн...»: Из переписки Владимира и Веры Набоковых и Романа Гринберга (1940–1967) / Публ., предисл. и ком. Р. Янгирова // *In Memoriam: Исторический сб. памяти А. И. Добкина*. СПб., Париж: Феникс–Athenaeum, 2000. С. 377–378).

С. 263–269. 1. «Как над стихами силы средней...» 2. «Целиком в

мастерскую высокую...» 3. «Все, от чего оно сжимается...» 4. «Вечер дымчат и долог...» 5. «Какое б счастье или горе...» 6. Сон. 7. «Зимы ли серые смыли...» – Впервые: Новый журнал. 1956. Кн. 46. Под общим заглавием «Семь стихотворений».

С. 263. ...comme un dernier... – из стихотворения А. Шенье «Ямб IV».

С. 264. 2. «Целиком в мастерскую высокую...» – Вариант стихотворения, датированный ноябрем 1943 г. и озаглавленный «Вечереет», сохранился в архиве Набокова: «„Вечереет“. Не знаю, как вышло, / и все пальцы в пастельной пыли. / Смотрят с неба художники бывшие / на янтарную щеку земли. / И в вафельно-легкой обители / зажигаются сто этажей, / и американские жители / стойком поднимаются в ней» (Berg Collection).

...американские жители... – Обыгрывается отмеченное также в «Других берегах» сходство лифтов в американских небоскребах со знакомой Набокову по детству вербной игрушкой: «...американских жителей, поднимающихся и опускающихся в сиреневом спирту в стеклянных трубках, вроде как лифты... в небоскребах Нью-Йорка» (Набоков В. С. 292). В примечании к публичному чтению стихотворения (его первого варианта, «Вечереет») Набоков добавляет, что при переезде в Америку его «прежде всего поразила летним вечером удивительная нежность сиреневых зданий вокруг Central Park и какое-то чувство нездешности, Нового Света, нового освещения» (Стихи и комментарии. С. 83).

С. 265. 3. «Все, от чего оно сжимается...» – Автограф в письме Р. Гринбергу от 3 августа 1953 г. («Дребезжание моих ржавых русских струн...». С. 389–390).

С. 270. Какое сделал я дурное дело. – Впервые: Воздушные пути: Альманах (Нью-Йорк). 1961. Кн. 2. Под общим заглавием «Два стихотворения» (со стихотворением «Минуты есть: „Не может быть“, – бормочешь...») включено в РР. Написано не 27 декабря 1959 г., как указано в авторском примечании к РР, а 26 февраля того же года. Вариант в письме сестре Е. В. Сикорской от 24 мая 1959 г.: «Какое ж совершил я злое дело, / и я ль идейный водолей, / Я, заставляющий мечтать мир целый / о бедной девочке моей – перефразируя блаженного большевика Бориса Пастернака...» (Набоков В. Переписка с сестрой. Анн Арбор: Ардис, 1985. С. 97). Примечание в С1979, что «первая строка» стихотворения Б. Пастернака «Нобелевская премия» «заимствована полностью», не точно: Набоков обыгрывает не первую, а третью строфу «Что же сделал я за пакость, / Я убийца и злодей? / Я весь мир заставил плакать / Над красой земли моей». Подробнее о стихотворении см. во вступ. статье наст. изд.

С. 271. «Средь этих лиственниц и сосен...» – Впервые: С1979.

С. 272. «Сорок три или четыре года...» – Впервые: Воздушные пути. 1967. Кн. 5. Автограф в письме Р. Гринбергу от 9 апреля 1967 г. (Друзья, бабочки и монстры: Из переписки Владимира и Веры Набоковых и Романа Гринберга (1940–1967). С. 553).

...«молодушкой была»... – Из песни (по мотивам стихотворения Евгения

Гребёнки) «Помню, я еще молодухой была...», входившей, в частности, в репертуар Надежды Плевицкой (1884–1940).

С. 273. С серого севера. – Впервые: Новое русское слово. 1968. 21 января. Включено в РР. Написано 20 декабря 1967 г.

С. 274. Пастернак. – Впервые: С1979. Ср. высказывание Набокова о Пастернаке в 1927 г.: «Есть в России довольно даровитый поэт Пастернак. Стих у него выпуклый, зобастый, тарашающий глаза, словно его муза страдает базедовой болезнью. Он без ума от громоздких образов, звучных, но буквальных рифм, рокошующих размеров. Синтаксис у него какой-то развратный. Чем-то он напоминает Бенедиктова. Вот точно так же темно и пышно Бенедиктов писал о женском телосложении, о чаше неба, об амазонке» (Сирин В. Дмитрий Кобяков. «Горечь». «Керамика». Евгений Шах. «Семя на камне» // Руль. 1927. 11 мая; цит. по: Набоков И. С. 638). Ср., впрочем, ценные соображения Ю. И. Левина о том, что «хотя во многих отношениях расчетливый „сноб и атлет“ В. Набоков и „вдохновенно захлебывающийся“ Б. Пастернак являются антиподами, первый многим обязан второму. <...> Описательные и „философствующие“ фрагменты „Дара“ и „Других берегов“ несут несомненный отпечаток усвоения ранней прозы и стихов Пастернака (с их „стереоскопичностью“, отмеченной в поздней эпиграмме), а отдельные фрагменты стихов Набокова (см. особенно „Поэты“ и „Слава“) являются открытыми заимствованиями из стихов Пастернака» (Левин Ю. И. Избранные труды. Поэтика. Семиотика. С. 281).

С. 275. «Как любил я стихи Гумилева!» – Впервые: С1979. См. также примеч. к стихотворению «Памяти Гумилева».

«...И умру я не в летней беседке...» – Намеренно искаженное варьирование и присвоение (тема бабочек) Набоковым строфы из стихотворения Гумилева «Я и Вы» (1917): «И умру я не на постели, / При нотариусе и враче, / А в какой-нибудь дикой щели, / Утонувшей в густом плюще».

С. 276. «В ничтожнейшем гиппопотаме...» – На листке с автографом стихотворения Набоков изобразил гиппопотаму, сокрушенно стоящего над разбитой вазой с цветами (Berg Collection, воспроизведен: Набоков В. В. Стихотворения / Вступ. статья, сост., подг. текста и примеч. М. Э. Маликовой. С. 206).

С. 277. «Ах, угонят их в степь, Арлекинов моих...» – Впервые: С1979.

То Vega. – Стихотворение посвящено, как и большинство произведений Набокова, его жене Вере Евсеевне Набоковой (урожд. Слоним).

...Арлекинов моих... – Отсылка к последнему завершённому русскому роману Набокова «Look at the Harlequins!» («Смотри на арлекинов!», 1974).

...черным, синим, оранжевым ромбам... – Мотив, соединяющий образы арлекинов и Венеции, в автобиографии Набокова переплетается с мотивом беседки с цветными стеклами в усадьбе Рождествено, ее «прозрачной арлекинадой» (Набоков В. Другие берега // Набоков В. С. 209) и через образ беседки с темой синэстезии (восприятия в цвете звуков и графической формы букв, свойственного писателю; см. там же.

С. 157–158) и в целом темой творчества.

С. 278. «Когда, слезами обливаясь...» – Пастиш русской лирической «цыганщины» начала века (цыганского романа, стихотворений Апухтина, А. Блока) из рассказа «Адмиралтейская игла» (впервые: Последние новости. 1933. 4, 5 июня), которая для Набокова была связана с воспоминаниями о его юношеской возлюбленной, требовавшей от стихов «только ямщикнегилошадейности» (Набоков В. Дар // Набоков IV. С. 260; ср. также 11-ю главу «Других берегов»).

«Распротысь с пустой тревогой...» – Пародия на песни профашистски ориентированных германских обществ любителей пеших походов из рассказа «Облако, озеро, башня» (впервые: Русские записки. 1937. № 2) со свойственными им примитивной рифмовкой, пафосом национализма, коллективизма, спорта и проч. В. Ф. Ходасевич назвал рассказ послесловием или, вернее, предисловием к роману Набокова «Приглашение на казнь» (Ходасевич В. Книги и люди: «Русские записки», книга 2-я // Возрождение. 1937. 8 августа).

С. 279. «Хорошо–с, – а помните, граждане...» – Из антиутопического рассказа Набокова «Истребление тиранов» (впервые: Русские записки. 1938. № 8/9). Эти «стихи нашего лучшего поэта», которые передают по радио во время праздника в воображаемом тоталитарном государстве, пародируют политическую лояльность В. Маяковского (название его октябрьской поэмы «Хорошо!», переделанное в сервильное «хорошо–с»), но не его поэтику (которая обыгрывается в стихотворении «0 правителях»; см. в наст. изд.). Анекдотичная «репа», упоминаемая в стихотворении, возникает ранее в рассказе: сообщение темной старухи о трудном вытаскивании выращенного ею рекордного корнеплода тиран называет настоящей поэзией («вот бы у кого господам поэтам учиться») и велит отлить репу в бронзе (Набоков V. С. 363).

С. 280–287. 1–18. – Приводимые в тексте романа «Дар» (1937–1938) фрагменты стихотворений из сборника его протагониста Федора Годунова–Чердынцева «Стихи» (вышедшего, в романной хронологии, в 1926 г.), который сам Федор, воображая возможную внимательную и доброжелательную рецензию на книгу, характеризует следующим образом: «... около пятидесяти двенадцатистиший, посвященных целиком одной теме – детству. <...> При набожном их сочинении автор, с одной стороны, стремился обобщить воспоминания, преимущественно отбирая черты, так или иначе свойственные всякому удавшемуся детству: отсюда их мнимая очевидность; а с другой – он дозволил проникнуть в стихи только тому, что было действительно им, полностью и без примеси: отсюда их мнимая изысканность. Одновременно ему приходилось делать большие усилия, как для того, чтобы не утратить руководства игрой, так и для того, чтобы не выйти из состояния игрища. Стратегия вдохновения и тактика ума, плоть поэзии и призрак призрачной прозы – вот определения, кажущиеся нам достаточно верными для характеристики творчества молодого поэта» (Набоков IV. С. 196–197). Два года спустя Федор вспоминает эти свои стихи – некоторые, «например о велосипеде или дантисте», ему вспоминать «совестно», «но зато было и кое-что живое и верное: хорошо получился закатившийся и найденный мяч, причем в последней строке нарушение рифмы (словно строка перелилась через край) до сих пор пело у него в слухе, все так же выразительно

и вдохновенно» (там же. С. 336).

С. 281. «...И снова заряжаешь ствол...» – Сильная аллитеративность стихотворения на «з», «ж», «р» представляет собой концентрированный дублет вводящего его прозаического пассажа, наглядно представляющего порождение стихотворения: «Как удивительно такие слова, как „сражение“ и „ружейный“, передают звук нажима при вдвигании в ружье крашеной палочки... которая затем, с треском попадая в золотую жесть кирасы (следует представить себе помесь кирасира и краснокорова), производила почетную выбоинку» (Набоков IV. С. 201).

С. 282. «...Под лестницею винтовой...» – В тексте романа за этим фрагментом стихотворения следует пространственный каталог находившихся в буфете экзотических предметов: вначале точность их характеристик представляется специфической принадлежностью именно прозы: «... ожерелье из волчьих зубов, алмазный божок с голым пузом, другой фарфоровый, высовывающий в знак национального приветствия черный язык...», однако к концу фразы скатывается в «ад аллигаторских аллитераций» и межъязычных каламбуров, представляющих собой черновой материал поэзии: «серебряная брошка с бирюзой, лампада ламы <...> как с немецких вод перламутровый Gruss...» (Набоков IV. С. 202).

С. 288. «Благодарю тебя, отчизна...» – В романе подробно представлен процесс сочинения Федором Годуновым–Чердынцевым этого, одного из ключевых для романа, текстов: «Но что мне внимание при жизни, коли я не уверен в том, что до последней, темнейшей своей зимы, дивясь, как ронсаровская старуха, мир будет вспоминать обо мне? А все–таки! Мне еще далеко до тридцати, и вот сегодня признан. Признан! Благодарю тебя, отчизна, за чистый... Это, пропев совсем близко, мелькнула лирическая возможность. Благодарю тебя, отчизна, за чистый и какой–то дар. Ты как безумие... Звук „признан“ мне, собственно, теперь и не нужен: от рифмы вспыхнула жизнь, но рифма сама отпала. Благодарю тебя, Россия, за чистый и... второе прилагательное я не успел разглядеть при вспышке – а жаль. Счастливый? Бессонный? Крылатый? За чистый и крылатый дар. Икры. Латы. Откуда этот римлянин? Нет, нет, все улетело, я не успел удержать» (Набоков IV. С. 216). О возникающих здесь как будто помимо сознания вымышленного сочинителя аллюзиях к выражению «бессмертный дар» из сонета П. Ронсара, в 1922 г. переведенного Набоковым, и о незавершенных набросках Пушкина, в которых встречается сдвиг «икры, латы», см. в статье А. Долинина «Три заметки о романе „Дар“» (Истинная жизнь писателя Сирина. С. 231–239). Почти через тридцать страниц Набоков возвращает Федора к сочинению этого стихотворения: засыпая, «Федор Константинович рискнул повторить про себя недосочиненные стихи», и они снова задержались «жадной жизнью, так что через минуту завладели им, мурашками пробежали по коже, заполнили голову божественным жужжанием, и тогда он <...> предался всем требованиям вдохновения. Это был разговор с тысячей собеседников, из которых лишь один настоящий, и этого настоящего надо было ловить и не упускать из слуха. Как мне трудно и как хорошо... И в разговоре татой ночи сама душа нетататот... безу безумие безочит, тому тамузыка тотот...» (там же. С. 241–242). Спустя «три часа опасного для жизни воодушевления и вслушивания» Федор наконец «выясняет» окончательный текст стихотворения, который и представлен в сборнике С1979. О целом комплексе поэтических

подтекстов (от классических – XLV строфа 6-й главы «Евгения Онегина» и «Благодарности» Лермонтова) до современных эмигрантских («Благодарность» Д. Кнута, «За все, за все спасибо. За войну...» Г. Адамовича) неназванного, но ключевого слова и понятия этого стихотворения и всего романа – «дар» см. в упомянутой статье А. Долинина и его комментарии к роману (Набоков IV. С. 652).

«Во тьме в незамерзающую воду...» – Это стихотворение Федор Годунов–Чердынцев сочиняет на протяжении десяти страниц прозаического текста: толчком к нему служит живое ощущение «сквозь распадавшуюся летнюю обувь» земли на немощной части берлинской улицы, соединившееся с мыслью о том, что «чувство России у него в ногах, что он мог бы пятками ощупать и узнать ее всю, как слепой ладонями» (Набоков IV. С. 249), и с лицезрением собственной ступни в рентгеноскопе обувного магазина: «...он увидел на светлом фоне свои собственные, темные, аккуратно–раздельно лежавшие суставчики. „Вот этим я ступлю на брег с парома Харона“» (там же. С. 249). Спустя десять страниц, в финале воображаемого разговора с поэтом Кончеевым о русской литературе, Федор продолжает в диалоге с идеальным собеседником («вымышленном диалоге по самоучителю вдохновения»):

«„Покажите. Посмотрим, как это получается: вот этим с черного парома сквозь (вечно?) тихо падающий снег (во тьме в незамерзающую воду отвесно падающий снег) (в обычную?) летейскую погоду вот этим я ступлю на брег. Не разбазарьте только волнения“.

<...>

„...Знаете, о чем я сейчас подумал: ведь река–то, собственно, – Стикс. Ну да ладно. Дальше. И к пристающему парому сук тянется и медленным багром (Харон) паромщик тянется к суку сырому (кривому)...“.

„...и медленно вращается паром. <...>“» (там же. С. 260).

В окончательном очищенном от словесной шелухи и прозаического кокона виде стихотворение представлено только в сборнике С1979.

«Здесь все так плоско, так непрочно...» – Это берлинское стихотворение Федор Годунов–Чердынцев читает на литературном вечере в Париже (Набоков IV. С. 277). Мотив привезенной из Гамбурга луны восходит к словам безумца Поприщина из гоголевских «Записок сумасшедшего»: «Луна ведь обыкновенно делается в Гамбурге, и прескверно делается» (отмечено в ком. А. Долинина: Набоков IV. С. 663). Там же в романе есть еще одно стихотворение, русское, представленное одной строчкой: «Березы желтые немеют в небе синем...» (Набоков IV. С. 277), которое в С1979 не включено.

С. 289. Ласточка. – В романе у этого стихотворения Годунова–Чердынцева нет заглавия (Набоков IV. С. 277).

«0 нет, мне жизнь не надоела...» – Это стихотворение главный герой «Дара» пишет, «учась меткости слов и предельной чистоте их сочетания» у пушкинской прозы: «...он доводил прозрачность прозы до ямба и затем преодолевал его, – живым примером служило: Не приведи

Бог видеть русский бунт, / бессмысленный и беспощадный» (Набоков IV. С. 280). Стихотворение, якобы принадлежащее Пушкину, которое вымышленный Набоковым мемуарист А. Н. Сухощюков видел собственноручно записанным поэтом в альбом своей тетки, составлено из четверостишия, заимствованного из одноименного чернового наброска Пушкина, причем в С1979 курсивом дан оригинальный пушкинский текст, а прямым – 2-я строка, приведенная в редакции А. Ф. Онегина, переставившего для улучшения рифмы параллельные члены синтаксического ряда (ср. у Пушкина: «Я жить люблю, я жить хочу»; Пушкин А. С. Собр. соч. / Под ред. С. А. Венгерова. Т. IV. СПб., 1910. С. 51). Второе четверостишие представляет собой вариацию, намеренно неловкую, на зачеркнутые Пушкиным в этом черновике слова «Мицкевич созреет» и «роман» (указано в ком. А. Долинина к роману: Набоков IV. С. 665–666).

...Монументальное исследование Андрея Белого о ритмах... – Имеются в виду статьи Андрея Белого, посвященные ритму русского четырехстопного ямба, которые вошли в его сборник «Символизм» (М., 1910). Согласно Андрею Белому, ритмическое богатство стиха определяется структурой полуударений, которые он, соединяя линиями, представлял в виде разнообразных геометрических фигур. Ритмическая фигура приведенного в этом пассаже стихотворения («Задумчиво и безнадежно...») напоминала, по словам протагониста романа, «нечто вроде той шаткой башни из кофейниц, корзин, подносов, ваз, которую балансирует на палке клоун, пока не наступает на барьер, и тогда все медленно наклоняется над истошно вопящей ложей, а при падении оказывается безопасно нанизанным на привязь» (Набоков IV. С. 332–333). М. Ю. Лотман нарисовал ритмическую схему этого стихотворения, образованную двумя трапециями и квадратом (Лотман М. Ю. «А та звезда над Пулковом...» // В. В. Набоков: Pro et contra: Материалы и исследования о жизни и творчестве В. В. Набокова: Антология. Т. 2. СПб.: РХГИ, 2001. С. 41):

Он же отмечает, что заключительные стихи этого отрывка: «...и неосуществимо нежно / уж полуувядает сад...» – демонстрируют уникальную 7-ю форму четырехстопного ямба, для которой Андрей Белый не смог привести ни одного бесспорного примера, придумав искусственное: «И велосипедист летит...» (там же; Андрей Белый. Символизм. С. 294–295).

С. 290. «В полдень послышался клюнувший ключ и характерно...» – Пародия ритмизованной и дактилической прозы (до слова «навсегда»), которой написана бóльшая часть трилогии Андрея Белого «Москва» (1926–1932). В журнальной публикации романа проставлено требуемое ритмом фразы ударение «харáктерно». Ироническое определение «капустный гекзаметр», по мнению А. Долинина, подсказывает, какое слово должно быть поставлено на месте выделенного Набоковым курсивом выпадающего из размера советизма «продуктами» (Набоков IV. С. 687).

«Люби лишь то, что редкостно и мнимо...» – В романе это стихотворение Годунова–Чердынцева набрано *in continuo*, сплошной строкой (Набоков IV. С. 337–338). По мнению М. Ю. Лотмана, первая и вторая части представляют собой не две различные строфы, а два варианта одной и той же (Лотман М. Ю. «А та звезда над Пулковом...». С. 42); впрочем, можно считать его цельным стихотворением, где вторая строфа варьирует первую.

С. 291. Ты полу–Мнемозина, / полумерцанье в имени твоём... – В стихотворении заключено имя возлюбленной Федора Зины Мерц, к которой оно обращено. О других ключевых для смысла романа словах, анаграммированных здесь, см.: Двинятин Ф. Н. Об интертекстуальных связях личного имени у Набокова: Зина Мерц и вокруг // *Russian Studies*. 1996. № 2–3. С. 234–254.

С. 292. «Виноград созрел, изваянья в аллеях синели...» – Единственный в романе фрагмент из стихов другого героя–поэта, Кончеева, из его сборника «Сообщение». В романе вскользь упоминается также поэма Кончеева с цветаевским названием «Начало Поэмы», в которой фигурирует некто, давший двойной и при этом модернизированный перевод пушкинского «И степь, и ночь – и при луне...»: «Месяц, полигон, виола заблудившегося пола...» (Набоков IV. С. 229, 250). Годунов–Чердынцев с отмеченным им самим сальерианским волнением следит за «тайнственно разраставшимся талантом» Кончеева (там же. С. 250), своего почти сверстника, единственного соперника в эмигрантской поэзии и идеального собеседника. В его «темном как будто стихе такая бездна смысла раскрывалась у ног, так верилось в звуки и так изумительно было, что вот, из этих же слов, которые нанизывались всеми, вдруг возникало, лилось и ускользало, не утолив до конца жажды, какое–то непохожее на слова, не нуждающееся в словах, своеродное совершенство» (там же. С. 276). Борис Маслов нашел в двустихии Кончеева контаминацию нескольких стихов О. Мандельштама: 5–й строфы «Грифельной оды» («Плод нарывал. Зрел виноград»), отрывков из стихотворений сборника «*Tristia*» (см.: Маслов Б. Поэт Кончеев: Опыт текстологии персонажа // *Новое литературное обозрение*. 2001. № 47. С. 179); размер стихотворения (пятистопный анапест с женскими окончаниями) и отчасти его образность напоминают, по наблюдению А. Долинина, стихотворение «Морелла I» Бориса Поплавского, особенно его 5–ю строфу: «Ты, как нежная вечность, расправила черные перья, / Ты на желтых закатах влюбилась в сиянье отчизны. / О, Морелла, усни, как ужасны орлиные жизни, / Будь как черные дети, забудь свою родину – Пэри» (Набоков IV. С. 692). Также среди прототипов Кончеева назывались ценившиеся Набоковым эмигрантские поэты В. Ходасевич и В. Пиотровский.

«Из темноты, для глаз всегда нежданно...» – В романе набрано сплошной строкой, завершено фразой «Посвящено Георгию Чулкову» (Набоков IV. С. 357). В стихотворении стилизован белый пятистопный ямб цикла А. Блока «Вольные мысли» (1907), посвященного Г. И. Чулкову (отмечено в ком. А. Долинина: там же. С. 694).

С. 293. «...ума большого...» – Канонический (весьма близкий к набоковскому, но, конечно, прозаический) перевод см.: К. Маркс и Ф. Энгельс. Собр. соч. М., 1955. Т. 2. С. 145.

«Что скажет о тебе далекий правнук твой...» – В романе этот апокрифический «скверный, но любопытный» сонет, якобы посвященный неизвестным поэтом Н. Г. Чернышевскому (Набоков IV. С. 475), обрамляет написанную Годуновым–Чердынцевым биографию Чернышевского и дан в перевернутом виде: в начале 4-й главы последние два катрена, в конце – начальные два терцета.

С. 294. «Прощай же, книга! Для видений...» – Заключительный пассаж «Дара», представляющий собой записанную «прозой» онегинскую строфу (Набоков IV. С. 541), одновременно является и формальным концом романа, и его риторическим отрицанием: «...и не кончается строка».

Влюбленность. – Стихотворение героя романа Набокова «Look at the Harlequins!» («Смотри на арлекинов!», 1974) Вадима Вадимыча, по определению героя, «философское любовное».

Мария Маликова

Примечания

1

Выражение «летит дождь» заимствовано мной у старого садовника, описанного мной в «Других берегах», который пользовался им, говоря о легком дождике перед самым выходом солнца. Стихи эти были мною сочинены в парке нашего имения, в последнюю весну, проведенную там моей семьей. Оно было напечатано в сборнике юношеских стихотворений одного моего школьного товарища и моих, «Два пути», вышедшем в Петрограде в январе 1918 г., и было положено на музыку композитором Владимиром Ивановичем Полем в начале 1919 г. – Здесь и далее постраничные примеч. автора.

2

Главный – в сущности, единственный – интерес этих строк состоит в том, что они выражают разочарование интеллигенции, приветствовавшей либеральную революцию весной 1917 г. и тяжело переживавшей большевистский реакционный бунт осенью того же года. То, что этот реакционный режим продержался уже больше полувека, придает пророческий оттенок трафаретному стихотворению юного поэта.

Возможно, что оно было напечатано в одной из ялтинских газет, но ни в один из моих позднейших сборников оно не вошло.

3

В строках 17–20 фрейдисты усмотрели «жажду смерти», а марксисты, не менее нелепо, «жажду искупления феодального греха». Могу заверить и тех и других, что возглас в этой строфе – чисто риторический, стилистический прием, нарочито подсунутый сюрприз, вроде возведения пешки в более низкий ранг, чем ожидаемый ранг ферзя.

4

Написанное свыше сорока лет тому назад, чтобы позабавить приятеля, это стихотворение не могло быть опубликовано ни в одном благопристойном журнале того времени. Манускрипт его только недавно обнаружился среди моих старых бумаг. Догадливый читатель воздержится от поисков в этой абстрактной фантазии какой-либо связи с моей позднейшей прозой.

5

Посвящено Владимиру Дмитриевичу Набокову. <?>

6

Это стихотворение, опубликованное в журнале под псевдонимом Василий Шишков, было написано с целью поймать в ловушку почтенного критика (Г. Адамович, Последние новости), который автоматически выражал недовольство по поводу всего, что я писал. Уловка удалась: в своем недельном отчете он с таким красноречивым энтузиазмом приветствовал появление «таинственного нового поэта», что я не мог удержаться от того, чтобы продлить шутку, описав мои встречи с несуществующим Шишковым в рассказе, в котором, среди прочего изюма, был критический разбор самого стихотворения и похвал Адамовича.

7

Расплывающиеся изумруды рекламы аспирина, находившейся на

противоположном берегу Сены.

8

Это предложение обращено к тем, вероятно несуществующим, читателям, которым могло бы быть интересно разгадать намек на связь между Сирином, сказочной птицей славянской мифологии, и Сириным, псевдонимом, под которым автор писал в период между двадцатыми и сороковыми годами, содержащийся в строках 45–47.

9

Подражание пушкинскому «Памятнику».

10

Анисовое масло употребляется в парфорсной охоте, чтобы намеренно сбить с пути собак, преследующих дичь.

11

Подражание некрасовской строке «От ликующих, праздно болтающих...»

12

«Так он думал» – подражание пушкинским строкам «Так думал молодой повеса...» и т. д.

13

До совсем еще недавнего времени на этой улице Парижа производились публичные казни путем обезглавливания.

14

Подражание описанию Днепра в «Страшной мести» Гоголя – «Чуден Днепр при тихой погоде...» и т. д.

15

Туристы, посещавшие советские театры, оставались под глубоким впечатлением от увиденного там диктатора.

16

Вспоминается комическое заявление Сталина: «Жить стало лучше, жить стало веселей!»

17

Здесь на мгновение появляются советский генерал и Адольф Гитлер.

18

Наша последняя остановка – Тегеран.

19

Мелкокалиберный советский поэт, Владимир Владимирович Маяковский, не лишенный некоторого блеска и хватки, но роковым образом развращенный режимом, которому верно служил.

20

«Монументален» рифмуется довольно точно со «Сталин», а «переперчил» забавным образом перекликается с фамилией британского политического деятеля в неряшливом русском произношении.

21

Качурин, Стефан Мстиславович. Мой бедный друг, бывший полковник белой армии, умерший несколько лет тому назад в монастыре на Аляске. Только золотым сердцем, ограниченными умственными способностями и старческим оптимизмом можно оправдать то, что он присоветовал описываемое здесь путешествие. Его дочь вышла замуж за композитора Торнитсена.

22

Ссылка на известное стихотворение Лермонтова («В полдневный жар в долине Дагестана...»).

23

Заглавие «Неправильные ямбы» основано на том, что, по правилам русской просодии, полуударение никогда не падает на если, меж тем как на слове между полуударение разрешается по старой традиции. Нет, однако, причины не обращаться с первым из этих двух легких, плавных двусложных слов так же, как и со вторым, особенно в начале ямбической строки.

24

Первая строфа этого стихотворения подражает началу стихотворения Бориса Пастернака, первая строка которого заимствована полностью.

25

В сборник 1979 г. Набоков включил значительное число ранее не публиковавшихся, а также не входивших в сборники стихотворений, в основном 1920-х гг., в целом не меняющих представление о Сирине-поэте. Надо также заметить, что сборник представляет Набокова – русского поэта; в него не включены немногочисленные стихотворения, написанные на французском и английском языках, переводы других авторов, от Пушкина до Ходасевича, и автопереводы (см. в издании: Набоков В. В. Стихотворения / Подг. текста, сост., вступ. статья и примеч. М. Э. Маликовой. СПб.: Академический проект, 2002 (Новая Библиотека поэта)).

26

Лотман М. Ю. «А та звезда над Пулковом...» // В. В. Набоков: Pro et contra: Материалы и исследования о жизни и творчестве В. В. Набокова: Антология. Т. 2. СПб.: РХГИ, 2001. С. 40.

27

Набоков В. Другие берега // Набоков В. В. Русский период. Собр. соч.: В 5 т. / Сост. Н. И. Артеменко-Толстой. Т. 5. СПб.: Симпозиум, 2000. С. 296.

28

Отец Набокова этих сборников сына, вышедших в конце 1922 – начале 1923 г., не увидел: он был застрелен в Берлине террористами–монархистами, покушавшимися на П. Н. Милюкова, 28 марта 1922 г.

29

Письмо В. Набокова родителям из Кембриджа от 19 февраля 1921 г. // Фонд Набокова в Коллекции Берга Нью-Йоркской публичной библиотеки (далее: Berg Collection).

30

Это не публиковавшееся стихотворение было вложено Набоковым в письмо от 6 октября 1920 г., посланное матери из Кембриджа (Berg Collection).

31

А. Б<ахра>х. [Рецензия] // Дни. 1923. 14 января.

32

Лурье В. В. Сирин. Горный путь // Новая русская книга. 1923. № 1. С. 23.

33

Из 36 стихотворений первого сборника в книгу 1979 г. включено только 8, из 128 второго – 31.

34

Струве Г. П. Русская литература в изгнании: Опыт исторического обзора зарубежной литературы. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1956. С. 120.

35

Там же.

36

Сирин В. «Беатриче» В. Л. Пиотровского // Россия и славянство. 1930. 11 октября; цит. по: Набоков В. В. Русский период. Собр. соч.: В 5 т. Т. 3. СПб.: Симпозиум, 2006. С. 684.

37

В сборнике «Возвращение Чорба» Набоков, «по бунинскому рецепту», соединил под одной обложкой рассказы стихи (Бунин прибег к такой комбинации в своем сборнике 1925 г. «Митина любовь»), что отражает наметившуюся в его творчестве тенденцию к синтезу поэзии и прозы, их взаимопроникновению и «переводу», а также завоеванный им к этому времени статус одного из первых молодых прозаиков русской эмиграции. К этому времени уже вышли «Машенька» и «Король, дама, валет», шла сериальная публикация «Защиты Лужина» в «Современных записках», увидели свет более десятка рассказов, – талантливость Сирина была

признана вне всяких сомнений. При этом критики–современники стихотворную часть сборника едва отметили, а при его переиздании в 1970 г. издательством «Ардис» стихи вовсе были исключены.

38

Отбор для этого сборника, вышедшего только через семь лет после «Грозди» и «Горнего пути», Набоков сделал уже предельно строгий: из составивших его 24 стихотворений 23 вошли в сборник 1979 г.

39

Струве Г. П. Русская литература в изгнании. С. 119–122.

40

См. письмо Набокова И. А. Бунину от 11 мая 1929 г.: С двух берегов: Русская литература XX века в России и за рубежом / Ред. Р. Дэвис, В. А. Келдыш; отв. ред. А. А. Тарасова. М.: ИМЛИ РАН, 2002. С. 193.

41

Сирин В. Иван Бунин. Избранные стихи // Руль. 1929. 22 мая; цит. по: Набоков В. В. Русский период. Собр. соч.: В 5 т. Т. 2. СПб.: Симпозиум, 1999. С. 674.

42

Там же. С. 672.

43

Сирин В. На красных лапках // Руль. 1930. 29 января; цит. по: Набоков В. В. Русский период. Т. 2. С. 681.

44

Набоков В. Стихотворения 1929–1951. Париж: Рифма, 1952. Б. с.

45

Набоков В. Стихи. Анн Арбор: Ардис, 1979. С. 3.

46

Сирин В. Дмитрий Кобяков. «Горечь». «Керамика». Евгений Шах. «Семя на камне» // Руль. 1927. 11 мая; цит. по: Набоков В. В. Русский период. Т. 2. С. 639.

47

Сирин В. Владислав Ходасевич. Собрание стихов // Руль. 1927. 14 декабря; цит. по: Набоков В. В. Русский период. Т. 2. С. 650.

48

См.: Маликова М. Э. Фантомный парижский поэт Василий Шишков // Русская литература. 2013. № 1. С. 191–210.

49

Набоков В. Стихи и комментарии [Заметки к поэтическому вечеру в Нью-Йорке, май 1949]; цит. по: Шраер М. Набоков: темы и вариации. СПб.: Академический проект, 2000. С. 220.

50

См.: Мельников Н. Г. «До последней капли чернил...»: Владимир Набоков и «Числа» // Литературное обозрение. 1996. № 2. С. 73–83; Долинин

А. А. Плата за проезд // Долинин А. А. Истинная жизнь писателя Сирина: Работы о Набокове. СПб.: Академический проект, 2004. С. 270–271.

51

Набоков В. Определения / Публ. А. Бабилова // Звезда. 2013. № 9. С. 119.

52

О своеобразии интертекстуальности Набокова, не полностью поддающейся описанию в рамках метода, разработанного К. Ф. Тарановским и его последователями на материале творчества О. Мандельштама, см.: Ронен О. Подражательность, антипародия, интертекстуальность и комментарий // Новое литературное обозрение. 2000. № 42; Двинятин Ф. Набоков, модернизм, постмодернизм и мимесис // Империя Н. Набоков и наследники: Сб. статей / Ред. – сост. Ю. Левинг, Е. Сошкин. М.: Новое литературное обозрение, 2006.

53

Адамович Г. О литературе в эмиграции // Современные записки. 1932. Кн. 50. С. 333.

54

Адамович Г. Жизнь и «жизнь» // Последние новости. 1935. 4 апреля.

55

Ходасевич В. Жалость и «жалость» // Возрождение. 1935. 11 апреля.

56

О мотиве молчания у Адамовича см.: Коростелев О. «Без красок и почти без слов...» (поэзия Георгия Адамовича) // Адамович Г. Полное собрание стихотворений / Сост., подг. текста, вступ. статья, примеч. О. Коростелева. СПб.: Академический проект, 2005. С. 40–41 (Новая Библиотека поэта. Малая серия).

57

Адамович Г. Литературные заметки: О «вечных спутниках» – Россия и советская литература – Василий Шишков // Последние новости. 1939. 22 сентября.

58

Набоков В. Дар // Набоков В. В. Русский период. Т. 4. С. 380.

59

Набоков В. Василий Шишков // Набоков В. В. Русский период. Т. 5. С. 412.

60

Сирин В. Борис Поплавский. «Флаги» // Руль. 1931. 11 марта; цит. по: Набоков В. В. Русский период. Т. 3. С. 696.

61

Бем А. Поэзия Николая Гронского: (Ко второй годовщине его смерти, 21-го ноября 1934 года) // Меч. 1936. 22 ноября.

62

Гронский Н. П. Стихи и поэмы. Париж: Парабола, 1936. С. 88–89, 120.

63

Набоков В. Василий Шишков. С. 409, 408.

64

Там же. С. 408.

65

Набоков В. Василий Шишков. С. 413.

66

Там же.

67

Сирин В. «Беатриче» В. Л. Пиотровского. С. 682–683.

68

Набоков В. Дар. С. 527.

69

Там же. 216.

70

Там же. С. 241.

71

Набоков В. Дар. С. 280.

72

Элита–Вильчковский К. «Современные записки». Кн. 65 // Бодрость. 1938. 6 февраля.

73

Набоков В. Предисловие к английскому переводу романа «Дар» («The Gift») / Пер. с англ. Г. Левинтона // В. В. Набоков: Pro et contra:

Личность и творчество Владимира Набокова в оценке русских и зарубежных мыслителей и исследователей: Антология. [Т. 1]. СПб.: РХГИ, 1997. С. 49.

74

Лотман М. Ю. «А та звезда над Пулковом...» // В. В. Набоков: Pro et contra. Т. 2. С. 40.

75

См.: Лотман М. Ю. Некоторые замечания о поэтике и поэзии Ф. К. Годунова–Чердынцева // В. В. Набоков: Pro et contra. [Т. 1]. С. 350–353; Маслов Б. Поэт Кончеев: Опыт текстологии персонажа // Новое литературное обозрение. 2001. № 47. С. 172–186.

76

«Чуден ночью Париж сухопарый. / Чу! Под сводами черных аркад, / где стена как скала, писсуары / за щитами своими журчат. / Есть судьба и альпийское нечто / в этом плеске пустынном».

77

Сирин В. Литературный смотр. Свободный сборник. Париж, 1939 // Современные записки. 1940. Кн. 80; цит. по: Набоков В. В. Русский период. Т. 5. С. 593.

78

Набоков Владимир. Стихи и комментарии. Заметки «для авторского вечера 7 мая 1949 года» / Вступ. статья, публ. и ком. Г. Б. Глушанок // Наше наследие. 2000. № 55. С. 82.

79

Набоков В. Дар. С. 241.

80

Письмо В. Набокова Р. Гринбергу от 6 ноября 1953 г. // «Дребезжание моих ржавых русских струн...»: Из переписки Владимира и Веры Набоковых и Романа Гринберга (1940–1967) / Публ., предисл. и ком. Р. Янгирова // In Memoriam: Исторический сборник памяти А. И. Добкина. СПб.; Париж: Феникс–Athenaeum, 2000. С. 392.

81

Набоков Владимир. Стихи и комментарии. С. 85.

82

Письмо Набокова Э. Уилсону от 5 апреля 1943 г. // The Nabokov–Wilson Letters. Correspondence Between Vladimir Nabokov and Edmund Wilson, 1941–1971 / Ed., annot. and with an introductory essay by Simon Karlinsky. New York: Harper and Row, 1979. P. 132.

83

См. письмо Набокова С. Ю. Прегель от 2 апреля 1943 г.: Из архива С. Ю. Прегель / Публ. Ю. Гаухман // Евреи в культуре русского Зарубежья. Иерусалим, 1995. Т. 4. С. 281.

84

Набоков Владимир. Стихи и комментарии. С. 86.

85

См. наш комментарий к этому стихотворению в наст. изд.

86

Письмо Г. П. Струве В.Ф. Маркову от 1 июля 1961 г. // «Ваш Глеб Струве». Письма Г. П. Струве к В. Ф. Маркову / Публ. Дж. Шерона // Новое литературное обозрение. 1995. № 12. С. 133–134.

87

Письмо Набокова Р. Гринбергу от 21 сентября 1958 г. // Друзья,

бабочки и монстры: Из переписки Владимира и Веры Набоковых и Романа Гринберга (1940–1967) / Публ., предисл. и ком. Р. Янгирова // Диаспора: Новые материалы. Вып. 1. СПб.; Париж: Феникс–Athenaeum, 2001. С. 524. Ср. также письмо Набокова Г. П. Струве от 3 июля 1959 г.: Владимир Набоков. Письма к Глебу Струве / Публ. Е. Б. Белодубровского // Звезда. 1999. № 4. С. 33.

88

См. об этом в книге: Флейшман Л. С. Борис Пастернак и Нобелевская премия. М.: Азбуковник, 2013. С. 259, 473. Набоков, как и его жена, были уверены, что вся история с переправкой романа на Запад и его публикацией у итальянского издателя–коммуниста Фельтринелли – специально устроенная советская акция. «Коммунисты преуспели в пропихивании своей низкосортной стряпни в клуб „Лауреатов Нобелевской премии“, – записала Вера Набокова в дневнике, – посредством чистого притворства, будто оно „незаконно вывезено“ из СССР! Массовый психоз идиотов, предводимых прокоммунистически настроенными подлецами» (цит. по: Шифф С. Вера (Миссис Владимир Набоков). М.: Независимая газета, 2002. С. 78). Позже исследователи, напротив, старались отделить смысл стихотворения Набокова от его очевидного пастернаковского подтекста и выделить в нем автобиографически–интимный план; см.: Robert P. Hughes. Nabokov Reading Pasternak // Boris Pasternak and His Times. Selected papers from the Second International Symposium on Pasternak / Ed. by Lazar Fleishman. Berkeley: Berkeley Slavic Specialities, 1989. P. 154; D. Barton Johnson. Pasternak's Zhivago and Nabokov's Lolita // The Nabokovian. № 14 (Spring 1985). P. 22; Кац Б. А. «Exegi monumentum» Владимира Набокова: К прочтению стихотворения «Какое сделал я дурное дело...» // Литературное обозрение. 1999. № 2. С. 72–77.

89

История появления и публикации на Западе стихотворения Пастернака подробно прослежена в книге Л. С. Флейшмана «Борис Пастернак и Нобелевская премия». С. 319–416.

90

Набокова забавляла и задача обратного перевода: в 1966 году, прочитав в «The New York Review of Books» французское двустишие «*Cet animal est très méchant: / Quand on l'attaque, il se defend*», он откликнулся письмом в редакцию, в котором предложил английский парафраз, весьма точный английский перевод с сохранением рифмы и очень, по его словам, точный русский перевод. Приведем только последний: «Животное сие – презлое существо: / Обороняется, коль трогают его» (The New York Review of Books. Vol. 12. January 20, 1966).

91

См. наш комментарий к этому стихотворению в наст. изд.

92

Стихотворение не включено в сборник 1979 г.; см.: Набоков В. В. Стихотворения. С. 67–68.

93

Об огромной роли Веры Набоковой, предпочитавшей оставаться в тени, в творческой карьере и взглядах ее мужа см. книгу Стейси Шифф «Вера (Миссис Владимир Набоков)».

94

Пассаж с описанием Федором Годуновым–Чердынцевым своего отца в романе «Дар», с которым Вера Набокова предлагает читателю ознакомиться, «чтобы еще точнее понять, о чем идет речь», столь же апофатичен: «...что-то, трудно передаваемое словами: дымка, тайна, загадочная недоговоренность... Оно не имело прямого отношения ни к нам, ни к моей матери, ни к внешности жизни, ни даже к бабочкам (ближе всего к ним, пожалуй); это была и не задумчивость, и не печаль... Тайне его я не могу подобрать имени, но только знаю, что оттого-то и получалось то особое – и не радостное, и не угрюмое, вообще никак не относящееся к видимости жизненных чувств – одиночество...» (Набоков В. Дар. С. 298).